

Д э в и д Э н г е р м а н



МОДЕРНИЗАЦИЯ С ТОГО БЕРЕГА

Американские
интеллектуалы
и романтика
развития России



СОВРЕМЕННАЯ
ЗАПАДНАЯ РУСИСТИКА

ИСТОРИЯ

Современная западная русистика /
Contemporary Western Rusistika

Дэвид Энгерман

**Модернизация с того берега.
Американские интеллектуалы и
романтика российского развития**

«Библиороссика»

2003

Энгерман Д.

Модернизация с того берега. Американские интеллектуалы и романтика российского развития / Д. Энгерман — «Библиороссика», 2003 — (Современная западная русистика / Contemporary Western Rusistika)

ISBN 978-5-907532-71-7

С конца XIX века до начала Второй мировой войны американские эксперты по России изучали стремительную индустриализацию и сопровождавшие ее социальные потрясения. Увлеченные идеями модернизации дипломаты, журналисты и ученые из разных политических кругов пытались обосновать или оправдать огромную цену прогресса — при этом многие американские интеллектуалы в своих работах использовали клише о русской пассивности, «отсталости» и фатализме, чтобы объяснить для себя те издержки, которые несло население страны. В своем исследовании Дэвид Энгерман подчеркивает, что интерес американцев к России и СССР был связан в первую очередь с экономикой, — и показывает, как этот интерес в итоге глубоко влиял на политику самих США.

ISBN 978-5-907532-71-7

© Энгерман Д., 2003
© Библиороссика, 2003

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Благодарности | 5 |
| Введение | 8 |
| Часть I | 19 |
| Глава 1 | 19 |
| Глава 2 | 27 |
| Глава 3 | 47 |
| Часть II | 58 |
| Глава 4 | 58 |
| Глава 5 | 70 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 75 |

Дэвид Энгерман

Модернизация с того берега. Американские интеллектуалы и романтика развития России

Благодарности

После многих лет скептического наблюдения за тем, как авторы предаются самолюбованиям в разделе «Благодарности», теперь я сам оказался в незавидном положении, выполняя эту задачу. Выражаю благодарность всем тем, кто помогал мне с этой книгой – с этим масштабным, но приносящим радость начинанием. За десять лет, что я работал над той или иной частью этой книги, я получил неоценимую помощь и поддержку от друзей, преподавателей, одноклассников, коллег и студентов.

Надеюсь, что теперь, когда книга уже близится к печати, не слишком опасно признать, что она начала свою жизнь как докторская диссертация, а одна из глав – как магистерская диссертация. Мои преподаватели и однокурсники в Ратгерском университете и Калифорнийском университете в Беркли даже слишком много слышали о содержании этой книги и моих трудностях с ней. Я особенно благодарен моим диссертационным советам: Джиму Ливингстону, Ллойд Гарднеру, Зиве Галили, Уоррену Кимбаллу и Дэвиду Фоглесонгу в Ратгерсе; а также Дайан Шейвер Клеменс, Дэвиду Холлингеру, Юрию Слезкину и Джорджу Бреслауэру в Беркли. Дайан Клеменс помогла создать дружественную и благоприятную среду для изучения дипломатической истории в Калифорнийском университете в Беркли. Я высоко оценил (и до сих пор ценю) мудрые наставления Дэвида Холлингера по интеллектуальным и профессиональным вопросам. Реджи Зелник и профессор Николай Рязановский, хотя официально и не входили в мой диссертационный совет, дали ценные советы вкупе с детальными комментариями, на которые ссылались многие поколения студентов. Спасибо Марджори Мерфи, моему научному руководителю, за то, что направила меня по этому пути.

Множество возможностей воспользоваться коллективной мудростью студентов и преподавателей в двух этих учебных заведениях предоставили читательские группы и семинары. Спасибо всем, кто высказал свои предложения и критические замечания в рамках этих мероприятий и не только, особенно Питеру Блитштейну, Розанне Каррарино, Эндрю Дюю, Макс Фридману, Нильсу Гилману, Биллу Литтманну, Д’Энн Пеннер, Чарльзу Ромни, Кристине Сквиот и Диане Селиг. Коллеги в Москве сделали мое пребывание в этом городе более продуктивным и приятным. Я особенно благодарен Виктору Кондрашину, Елене Осокиной и Нане Цихелашвили.

Официальные презентации дали возможность исправить ошибки и поучиться у собравшихся. В этой работе были использованы ответы на презентации Общества социальной истории (Social History Society), Тихоокеанского отделения Американской исторической ассоциации (Pacific Coast Branch of the American Historical Association), Американской ассоциации содействия славянским исследованиям (American Association for the Advancement of Slavic Studies), Организации американских историков (Organization of American Historians), Йельской программы исследований международной безопасности (International Security Studies), Гарвардского центра Чарльза Уоррена (Harvard’s Charles Warren Center) и семинара исторического факультета Университета Джонса Хопкинса. Исключительную ценность представляли комментарии Мэри Фернер, Дороти Росс и Джеймса Клоппенберга.

Так много ученых прочитали тот или иной раздел этой книги, что я, возможно, сократил ее будущую аудиторию. Мне бы хотелось особенно поблагодарить тех, кто смог прочесть ее всю за один раз. Мой диссертационный совет прошелся по 650 страницам с бесчисленными предложениями и улучшениями и, что удивительно, сохранил хорошее настроение. Замечания Брюса Куклика и покойного Ханса Роггера также помогли сформировать курс первоначальных изменений. Дэвид Фоглесонг представил особенно подробную рецензию – 25 страниц. Работая над окончательной версией, я воспользовался своевременными и полезными комментариями Стэнли Энгермана, Тома Глисона, Эбена Миллера, Фрэнка Нинковича, Майкла Уилрича и анонимного читателя «Harvard University Press». Другие друзья и коллеги предложили ценные советы по отдельным частям рукописи; спасибо Майклу Адасу, Джейн Каменски и Дэвиду Макфаддену. Ученые также делились со мной неопубликованными эссе, а иногда и первоисточниками – это показывает, что исследования могут быть коллективным делом; спасибо Роберту Баннистеру, Эндрю Джеветту, Джуди Кутулас, Чарльзу Ромни и Джоан Шелли Рубин. Редакционный состав «Harvard University Press» был неизменно предупредителен и профессионален. Особая благодарность Аиде Дональд и Джеффу Кехо за то, что они начали этот проект в «Press», а также Кэтлин Макдермотт и Кристин Торстейнссон за то, что продолжили с того места, на котором те остановились. Особое спасибо Мортону Келлеру за то, что он первым направил меня в Гарвард.

Моя признательность, конечно, выходит за рамки интеллектуальных вопросов. Я благодарен за благотворительную поддержку Ратгерскому университету, Фонду Меллона (Mellon Foundation) (через исторический факультет Калифорнийского университета в Беркли), Министерству образования США и Мемориальному фонду Мабель Маклеод Льюис (Mabelle McLeod Lewis Memorial Fund). Семестровый отпуск, финансируемый гарвардским Центром Чарльза Уоррена (Charles Warren Center), предоставил мне возможность работать в библиотеке Вайднера и рядом с ней, в одном из чудес американского научного мира. Что еще более важно, группа ученых, собравшихся в Эмерсон-холле, создала замечательную и поддерживающую интеллектуальную среду. Я особенно благодарен Джиму Кэмпбеллу и Йоне Хансену за наши постоянные беседы. Фонд Мазера в Брандейсе (Mazer Fund) оказал поддержку в ходе окончательной подготовки рукописи.

Другие организации содействовали исследовательским поездкам: Институт продвинутой русистики Кеннана (Kennan Institute for Advanced Russian Studies), Президентские библиотеки Франклина Делано Рузвельта и Герберта Гувера (Franklin Delano Roosevelt, Herbert Hoover Presidential Libraries), Архивный центр Рокфеллера (Rockefeller Archive Center), Фонд Патрика исторического факультета Беркли (Patrick Endowment) и Фонд Ханны Лидом Колледжа Суортмор (Swarthmore College's Hannah Leedom Fund). В этих поездках я пользовался необычайными знаниями и щедростью библиотекарей и архивистов, неизменно проявляющих доброту и готовых помочь. Я благодарен архивам, перечисленным в разделе «Источники», за разрешение цитировать материалы, хранящиеся в их коллекциях, и Американской исторической ассоциации за разрешение включить части статьи, которая впервые появилась в «American Historical Review». Особая благодарность за помощь Джуди Хеннеке (Отдел церковной истории, Первая Церковь Христа, исследователь), Тому Розенбауму (Архивный центр Рокфеллера) и Нэнси Вебстер (Чикагское историческое общество).

Этот документальный материал стал более содержательным благодаря возможности поговорить с людьми, которые были непосредственно знакомы с героями этой книги. Я благодарен Джорджу Фишеру, Еве Хиндус и Марку Перлману за то, что они поделились своими воспоминаниями. С Элизабет Крамп мы обсуждали ее отца (и другие темы) в течение многих лет после нашей первой встречи. Из беседы с Джорджем Фростом Кеннаном, которая была частью исследовательской работы для этой книги, были использованы цитаты, но также благодаря ей я сформировал часть своей аргументации.

Мои коллеги и студенты в Брандейском университете создали благоприятные условия для продолжения работы над рукописью. Я благодарен сотрудникам исторического факультета за их постоянную поддержку, особенно Дэвиду Хакетту Фишеру и Мортону Келлеру за то, что помогли увидеть долгосрочную перспективу, за успокаивающие советы Пола Янковского и Жаклин Джонс, а также за остроумие и мудрость Джейн Каменски и Майкла Уилрича. Исследовательская помощь Эбена Миллера была незаменима, когда работа уже близилась к концу.

Самые важные слова благодарности я приберег напоследок. Пол Сэйбин и Итан Поллок помогали этой книге преодолевать препятствия на протяжении большей части прошлого десятилетия. Они прочитали текст столько раз, что теперь знают его лучше меня. Важные идеи появились в процессе наших поздних пятничных завтраков, которые теперь можно лишь оплакивать, а также во время встреч в кафе, посиделок и телефонных разговоров. И их дружба значит для меня гораздо больше.

К счастью для нее, но к несчастью для меня, Стефани Раттен видела только последний отрезок этого долгого пути. Она была избавлена от разногласий относительно самого текста, но поистине бесценно то, с каким терпением, поддержкой и гордостью она относилась к ее автору. Поэтому спасибо.

Наконец, я хотел бы поблагодарить свою семью. Одно из преимуществ преподавания в Бостоне для меня – возможность жить рядом с моими братьями Марком и Джеффом и их растущими семьями. Я с гордостью поставлю экземпляр этой книги на полку дома каждого из них. Особая благодарность моим родителям. Они не только поддерживали мое образование, но и были его основным источником. Эту книгу я посвящаю им.

Введение С того берега

Период с 1870-го по 1940-й для России и СССР был годами беспорядочного и связанного с большими затратами пути к индустриализации. Наблюдая за трансформацией России, американские интеллектуалы пересмотрели некоторые из центральных концепций своего времени. Отвергая идею о том, что перед народами встает проблема изначально заложенных ограничений их будущего развития, они разработали разнообразные концепции национального характера, высоко оценивая индустриализацию как двигатель прогресса. Американские эксперты по России – дипломаты, журналисты и ученые, которые зарабатывали на жизнь тем, что интерпретировали события в России для американской аудитории, – сочли советскую индустриализацию настолько привлекательной, что поддерживали стремительную и в реальности губительную политику быстрой модернизации, которая разрушила жизни и уничтожила средства к существованию миллионов людей в России и Советском Союзе. Их вера в фундаментальные различия между культурами в сочетании с тем, какую ценность они придавали модернизации, породила энтузиазм в отношении социальных преобразований, при котором игнорировались связанные с ними человеческие жертвы.

Книга «Модернизация с того берега» показывает, как возникли эти новые идеи культурных различий и социальных изменений и как они легли в основу значительных перемен в интеллектуальной жизни XX века и международной политике. При этом автор черпает вдохновение в мыслях А. И. Герцена, русского радикала середины XIX века. Самая известная работа Герцена «С того берега» (1850) содержит его размышления о революционном брожении 1848 года, которое он наблюдал, находясь в эмиграции в Западной Европе. Не одобряя призывы радикалов к тому, чтобы каждая нация пожертвовала своим настоящим ради утопического будущего, Герцен выразил видение социальных преобразований, которые принесут пользу каждому поколению, в том числе и нынешнему. В то же самое время его работы выражают решимость понять страны и народы через историю; он воспекает универсальное человеческое достоинство и одновременно признает широкое разнообразие национальных традиций [Герцен 1955]¹.

И те, и другие мысли Герцена оставались без внимания на его родине в течение века после их написания. Советские лидеры утверждали, что действуют на основе универсальных законов исторического развития, интерпретируя их таким образом, чтобы требовать нынешних жертв во имя будущих благ. Такое отношение привело к массовым разрушениям и дезорганизации в Советском Союзе, в том числе к катастрофическому голоду 1932–1933 годов. Этот голод был катаклизмом, но не природным. Власти изъяли из главных житниц СССР все продовольствие до последней крошки, утверждая, что это необходимо для обороны и быстрой индустриализации страны. В результате миллионы граждан, в первую очередь в самых производительных сельскохозяйственных регионах страны, умерли от голода. Американские наблюдатели проявили на удивление мало сочувствия к тем, кто пострадал во время голода. Беспечно рассуждая о недостаточном трудолюбии русских крестьян и их низком интеллекте, многие американские эксперты возлагали вину за нехватку продовольствия на врожденные склонности русских. Более того, они рассматривали эти жертвы как необходимый побочный эффект советских усилий по модернизации. Россия, заявляли они, «голодала сама по себе»². Промышленное величие было достойной целью, даже ценой больших человеческих жертв.

¹ Общую информацию о Герцене см. в [Берлин 2017; Малиа 2010; Venturi 1960; Gleason 1980].

² Эта фраза была использована до голода. См. письмо Брюса Хоппера Гамильтону Фишу Армстронгу от 18 января

Американские писатели, конечно, сами были застрахованы от жертв, к которым призывали. Говоря словами Герцена, «жертвовать другими, иметь за них самоотвержение слишком легко, чтоб быть добродетелью» [Герцен 1955: 138]. Кто эти люди столь легкой добродетели? Как они могли одобрить такие дорогостоящие планы индустриализации? Что их поддержка раскрыла относительно американских идей модернизации? Как представления о культурных различиях сформировали их взгляды на модернизацию? Как они представляли себе путь к современному обществу?

В XX веке эти вопросы волновали весь мир. Очарованные модернизацией, американские интеллигенты одобряли радикальные формы социальных изменений повсюду, кроме Соединенных Штатов. Они поставили на вершину человеческих достижений общество, во многом похожее на то, каким они представляли себе свое собственное: индустриальное, урбанизированное, космополитическое, рациональное и демократическое. Отсталые страны, утверждали они, могут осуществить модернизацию только путем осуществления быстрых и насильственных изменений. Однако современная Америка была избавлена от подобных потрясений. С ростом глобальной роли Америки и укреплением связей интеллектуалов с центрами силы эти идеи сформировали нации по всему миру. Новые идеи социальных изменений и национального характера также легли в основу представлений об американской национальной идентичности, которая сама претерпела значительные изменения после 1870 года: от научного расизма и ассимиляционистской теории в период до Второй мировой войны к воспеванию общечеловеческих ценностей в 1950-х годах и повышению ценности культурных различий с 1980-х годов. То, как американцы понимали процесс социальных изменений, сформировало их понимание своей нации. В конце концов, эти противоречия между принятием культурных различий и содействием модернизации легли в основу американо-советского конфликта во время холодной войны. В то время как ученые анализировали этот конфликт как противостояние между двумя промышленными державами с противоположными идеологиями, американские дипломаты истолковывали врага времен холодной войны как изначально и безнадежно иную нацию. Эти концепции, поддерживаемые глобальным влиянием Америки, создали (и продолжают создавать) «американский век».

Американские труды о России и Советском Союзе были сформированы тремя силами, которые составляют три основные темы этой книги: это давняя вера в то, что каждая нация обладает своим уникальным характером; растущий энтузиазм в отношении модернизации; и появление новых профессиональных институтов и норм для понимания других стран. Во-первых, для объяснения событий в России и СССР американские эксперты использовали стереотипы о национальном характере. Основываясь на многовековых представлениях об особенностях русских, западные эксперты перечисляли черты, которые, предположительно, ограничивали способность русских функционировать в современном мире. Американцы вторили европейским комментаторам, утверждавшим, что русский национальный характер возник по географическим причинам: долгие зимы сделали русских пассивными, а бесконечные равнины вызывали у них уныние. Русские в этих трудах демонстрировали инстинктивное поведение, крайнюю пассивность и апатию, потрясаемую только насилем³. Американцы утверждали, что эти характеристики – подчеркнуто негативные – повлияли на экономические перспективы России. Эти представления о национальном характере использовались независимо от политических взглядов: явные враги и ярые сторонники России в Соединенных Штатах сходились во взглядах на то, в чем именно состоит отличие русских.

1930 года (Hamilton Fish Armstrong Papers, box 35).

³ Из того, что следует далее, должно быть очевидно, что то, что я пишу о тех или иных стереотипах относительно национального характера, заключая или не заключая написанное в кавычки, не означает, что я их одобряю.

Еще Герцен проиллюстрировал, что эти черты можно толковать двояко. В 1850-х годах, проживая во Франции и Италии, он по-новому взглянул на русский характер. Он часто упоминал о «славянском духе» [Герцен 1956: 315], который отличал его соотечественников от европейцев, уделяя особое внимание душевной и общинной натуре русских. И все же он также считал само собой разумеющимся, что русские – особенно крестьяне, составлявшие подавляющее большинство населения, – обладали «беззаботной и ленивой природой» и более «страдательной покорностью», чем политической или экономической активностью [Герцен 1956: 319]. Различие необязательно означало превосходство.

Представления американцев о русском характере часто содержали в себе идею о том, что русские являются азиатами – «азиатскими» на языке того времени. Это утверждение, касающееся как расовых, так и географических характеристик, еще сильнее оправдывало насилие в России. Согласно часто повторяемой мысли, жизнь для азиатов, а следовательно, и для русских, имеет меньшую ценность. Личные качества также имели политические последствия. Азиатами, как утверждалось, можно управлять только с помощью «восточного деспотизма». Писатели от барона Шарля де Монтескье до Карла Маркса изображали Азию как неизменяющееся – даже неизменное – болото нищеты, замкнутости и деспотизма⁴. Независимо от того, понимались ли русские как азиаты или славяне, относительно них всегда применялось утверждение, что они не готовы присоединиться к современному миру. Партикуляристские взгляды на Россию, в которых подчеркивались уникальные традиции и черты характера нации, доминировали в американских трудах вплоть до 1920-х годов.

В 1920-х эти партикуляристские доводы о национальном характере столкнулись со сложностями из-за набирающей популярность универсализма, который понимал все страны и народы как по сути схожие. Признавая национальные различия, универсалисты, как правило, утверждали, что модернизация сотрет различия, которые не затрагивают основы человеческой природы. Универсализм возник задолго до XX века; среди его наиболее видных сторонников был современник и враг Герцена Карл Маркс. Герцен и Маркс также расходились во мнениях в вопросах политики. В то время как Герцен относился с опаской к революционному пылу 1848 года, Маркс делал все возможное, чтобы его разжечь. Вместе с Фридрихом Энгельсом Маркс приветствовал «призрак коммунизма», который тогда «бродил по Европе» [Маркс, Энгельс 1955: 423]. Чтобы осуществить революцию, настаивали они, радикалы должны подчиняться железным законам исторического развития, не делая исключений для национальных особенностей или отдельных преимуществ. Согласно диктату истории, все нации будут развиваться по одному пути; таким образом, более развитая страна покажет отсталой «картину ее собственного будущего» [Маркс, Энгельс 1960: 9]. Американцы, как симпатизирующие Марксу, как и многие из тех, кто ненавидел его теории, все чаще ссылались на универсалистские идеи.

Во-вторых, в начале XX века это противоречие между универсальным развитием и различиями между странами было переосмыслено в результате изменения понимания прогресса. К 1920-м годам американские эксперты утверждали, что советская модернизация, даже с ее ошеломляющими человеческими и финансовыми затратами, стоила того. Американцы высоко оценили как методы, так и цели советской модели индустриализации, особенно за то, что, согласно заявлениям, она должна была планироваться рационально и централизованно. В рамках экономической модернизации они также использовали свои взгляды на русский характер. Национальный характер больше не определял судьбу страны; вместо этого он стал препятствием, которое нужно преодолеть на пути к модернизации.

Большевики неотступно придерживались этого видения модернистского промышленного общества. Американские эксперты по России, независимо от того, как они относились

⁴ См. [Вульф 2003; Malia 1999; Lowe 1966; Wittfogel 1957].

к большевистскому режиму, приняли или даже одобрили большевистское видение модернизации. Они также признавали (и часто восхваляли) сопутствующую диалектику страданий, благодаря которой текущие трудности должны привести к будущему процветанию. На них повлияло то, что самый известный американский эксперт по России Джордж Фрост Кеннан назвал «романтикой экономического развития». Летом 1932 года, рассказывая о перспективах советской экономики, он обратил внимание на энтузиазм советских граждан в отношении индустриализации. Те, кто находится под влиянием романтики, особенно молодежь, «проигнорировали бы все другие вопросы в пользу экономического прогресса», – писал Кеннан⁵. Личные желания и даже личное благополучие считались вторичными по отношению к развитию.

Здесь американские взгляды наиболее резко расходились со взглядами Герцена, который трогательно провозгласил необходимость ценить нынешнее благосостояние выше будущих перспектив. Природа, писал он, «никогда не делает поколений средствами для достижения будущего» [Герцен 1955: 35]. Никто не должен играть роль Молоха, библейского божества, которому приносили в жертву детей. Как писал Герцен в известном отрывке:

Кто этот Молох, который, по мере приближения к нему тружеников, вместо награды пятится и, в утешение изнуренным и обреченным на гибель толпам, которые ему кричат: «Morituri te salutant» [«Осужденные на смерть приветствуют тебя»], только и умеет ответить горькой насмешкой, что после их смерти будет прекрасно на земле? Неужели и вы обрекаете современных людей на жалкую участь кариатид, поддерживающих террасу, на которой когда-нибудь другие будут танцевать... или на то, чтоб быть несчастными работниками, которые, по колено в грязи, тащат барку с таинственным руном и с смиренной надписью «Прогресс в будущем» на флаге? [Герцен 1955: 159].

Герцен сравнивал революционеров своего времени с языческими фанатиками. По словам Исаяи Берлина, одного из самых проникательных толкователей Герцена, Герцен рассматривал «собирательные существительные» (такие как «нация», «равенство», «человечность» или «прогресс») как «просто современные версии древних религий, которые требовали человеческих жертвоприношений». Даже «salus populi» (благосостояние народа) для Герцена не благо, а «пахнет жженым телом, кровью, инквизицией, [и] пыткой» [Герцен 1955: 140; Berlin 1956: XV]. Не меньше, чем сами большевики, продемонстрировали то, что предсказал в своих трудах Герцен, американцы с их энтузиазмом в отношении прогресса и промышленности в России – и с их готовностью принять большие человеческие потери.

В 1928 году с началом Первой пятилетки американская поддержка советской индустриализации, несмотря на ее человеческие жертвы, только усилилась. Даже до широкого признания факта Великой депрессии в Соединенных Штатах – но особенно после – понятие плановой экономики обладало огромной привлекательностью. Для поколения технократов, достигших совершеннолетия во время массовой экономической мобилизации Первой мировой войны, экономика, управляемая такими же техническими экспертами, как они сами, казалась единственным путем к эффективности и общественному благосостоянию [Jordan 1994; Alchon 1985]. Однако как бы эти эксперты ни восхищались советским планированием, они настаивали на том, чтобы Соединенные Штаты были избавлены от затрат советского развития. Советское планирование и индустриализация также были весьма популярны в самом Советском Союзе, даже среди тех, кто выступал против правления большевиков [Shearer 1996; Viola 1987]. Восхищение также было взаимным; русские отмечали американское промышленное мастерство, даже осуждая буржуазный капитализм⁶. Углубление депрессии в Соединенных Штатах только

⁵ Кеннан Дж. Ф. Телеграмма министру от 19 августа 1932 года. SDDF 861.5017 Living Conditions/510.

⁶ См. [Rogger 1981; Hughes 1989, ch. 6; Brooks 1991].

усилило ощущение того, что американцам есть чему поучиться у советской системы экономической организации. В травмах советской индустриализации многие американцы стали видеть надежду не только на советское будущее, но и на свое собственное. При этом они полностью осознавали связанные с этим издержки, которые резко стали заметны во время голода 1932–1933 годов.

В-третьих, американское стремление учиться у Советского Союза усилилось благодаря профессионализации американских экспертов по России. Трансформируя институциональные формы, а также интеллектуальное содержание, профессионализация оказала различное влияние на дипломатию, журналистику и науку. Среди американских экспертов по России на место первых поколений любителей-авантюристов пришли новые профессионалы в каждой области. Это изменение очевидно на примере одного генеалогического древа. Самый плодовитый специалист по России в Америке XIX века Джордж Кеннан так и не окончил среднюю школу; цель его первой поездки в Россию заключалась в том, чтобы изучить маршрут телеграфной линии. Напротив, его внучатый племянник и тезка Джордж Фрост Кеннан, дипломат XX века, прошел обучение в Принстоне, Школе дипломатической службы и Берлинском университете, и только затем начал свою карьеру в качестве специалиста по России в Государственном департаменте. Журналисты-путешественники, такие как Кеннан-старший, сменились экспертами с университетским образованием и в конечном счете специалистами в области общественных наук и дипломатии⁷. Сложным образом профессионализация разделила специалистов на новые группы, каждая из которых применяла свои собственные традиции и правила для интерпретации России и СССР.

Хотя траектория развития европейских представлений о России кое-где согласуется, а где-то идет вразрез с историей американских взглядов, эта книга посвящена именно американской мысли. Распространенный в Америке дискурс о России и Советском Союзе отличался от тенденций в Западной Европе. В разгар Викторианской эпохи американские взгляды в большей степени, чем континентальные или британские того времени, придерживались жесткого универсализма – идеи о том, что каждый человек или народ может совершенствоваться. Профессионализация общественных наук в Соединенных Штатах происходила с большей претензией на научную объективность, чем аналогичные события в Западной Европе. Наконец, отсутствие в Америке значительной лейбористской партии – что, как известно, отмечено в книге немецкого социолога Вернера Зомбарта «Почему в Соединенных Штатах нет социализма?» (1906) – придавало американским представлениям о Советском Союзе отличный от европейских взглядов политический оттенок. В настоящей книге, описывающей отношение к модернизации в России только на одном из многих «тех берегов»⁸, эти сравнения остаются скорее скрытыми, чем явными.

Американские представления о преимущественно крестьянском населении России также основывались на идеях самих русских. Особенно в XIX веке, когда в Западной Европе получила развитие индустриализация и возник романтизм, образы крестьян стали играть важную роль в спорах о текущих условиях и будущей траектории развития России⁹. Славянофилы – консерваторы, которые подчеркивали отличия России от Запада, – прославляли крестьянство и самодержавие как столпы русского государственного строя и воплощения русского харак-

⁷ Основные работы по профессионализации в общественных науках: [Haskell 1977; Ross 1991]. В дипломатической службе: [Schulzinger 1975; De Santis 1979]. В журналистике: [Schudson 1978].

⁸ См. [Sombart 1976]. Работы, посвященные западноевропейским взглядам на современную Россию: [Malia 1999; Зашихин 1995; Graubard 1956; Paddock 1994; Burleigh 1988; Cooley 1971]. Вдохновляющие на размышления сравнения, написанные авторами за пределами Европы, приведены в [Anno 1999; Anno 2000; Вада 1999, глава 12]. Интересное сопоставление понятий культурных и экономических различий в пределах другой империи на границах Европы см. в [Makdisi 2002].

⁹ За основу этих абзацев взят материал из [Frierson 1993: 45, 159]. О народничестве см. также [Wortman 1967; Walicki 1989]. Тема растущей пропасти внутри российского общества исследуется в [Riasanovsky 1976] и в имевшей большой резонанс статье [Haimson 1964].

тера. По их мнению, особые качества России и русского крестьянства заслуживали сохранения и защиты от западного материализма и индустриализма. И все же восхищались они на расстоянии. На протяжении всего XIX века образованные русские описывали резкие контрасты между собой (*обществом*) и основной массой населения (*народом*). Со снисходительностью и сочувствием интеллектуалы рассматривали *народ* как ничем не примечательную массу простых людей, которым требовалась помощь *общества*, если они когда-нибудь надеялись избавиться от своих благородных страданий. Как выразился один из последователей народничества (группа радикальных сторонников идей славянофилов) в 1880 году, народник «любит *народ* не только потому, что он несчастлив... Он уважает народ как коллективное целое, представляющее собой высший уровень справедливости и человечности в наше время». Любовь к *народу*, какой бы глубокой и искренней она ни была, была направлена не на реальных людей, а на абстракцию.

Однако в течение двух десятилетий такие позитивные мнения оказались заглушены критическими. В последние десятилетия XIX века русская интеллигенция изображала крестьян дикими, беспомощными и неисправимыми – так как они не реагировали (и даже выражали неблагодарность) на все усилия *общества*. Опыт общения русской интеллигенции с крестьянством, пожалуй, лучше всего иллюстрируется усилиями народников по распространению образования и просвещения «среди народа» в 1874 году. *Народ* был настолько не вдохновлен действиями этих радикалов, что часто сообщал о них сотрудникам полиции. Однако последовавшее за этим разочарование в *народе* вряд ли коснулось только радикалов. В русском искусстве, литературе и театре конца XIX века крестьян уже не показывали хранителями сельской добродетели. Вместо этого изображаемая сельская местность оказалась населена кулаками – «крестьянскими кровопийцами», и бабами – вульгарными крестьянками, которые символизировали моральный упадок крестьянства. Крестьянам, которых ранее превозносили как абстрактный коллектив, жилось гораздо хуже (в сознании образованных русских) как реальным индивидам. Взгляды русских интеллектуалов на своих сельских соотечественников демонстрируют, что не требуется дальних географических расстояний, чтобы превратить объекты наблюдения в «других». Хотя члены русского *общества* жили рядом с крестьянами, тем не менее они оставались за пределами жизни тех, кого описывали с таким презрением. Американские наблюдатели за Россией, не зная местных условий, обнаружили, что их подозрения о крестьянстве подтверждаются русскими писателями.

Недавним исследованиям по такому внешнему восприятию способствовала – и, что более проблематично, определила их направление – замечательная работа Эдварда Саида «Ориентализм». Саид документирует ряд предположений, которых придерживались европейские ученые, писатели и художники о «Востоке» и «восточных людях». Наряду с проницательным прочтением Флобера и широкими обобщениями касательно французской и британской политики на Ближнем Востоке Саид предлагает убедительную критику европейских представлений о Востоке. Европейцы, пишет он, гомогенизировали жителей Востока и поместили их вне исторического времени. Но сам Саид уделяет минимум внимания различиям между изображениями Востока и тому, как они менялись с течением времени. Таким образом, по иронии судьбы, его критика гомогенизации и гипостазирования в равной степени применима к его собственному анализу ориенталистского дискурса. Тем не менее идеи Саида о восприятии как форме социальной власти – и их тесная связь с императивами государственного правления – применимы к американским взглядам на Россию¹⁰.

Название «Модернизация с того берега» отсылает к метафоре Герцена о далеких берегах, подчеркивая взгляд со стороны, на котором строил свою аргументацию Саид. Но эта метафора применима как во времени, так и в пространстве. «Дальний берег» олицетворял не только уда-

¹⁰ См. [Саид 2006; Слезкин 2008, эпилог; Adas 1993; Prakash 1995].

ленность Герцена от России, но и тихую гавань, которой он достиг, когда утихли революционные бури 1848 года. Как и труд Герцена, эта книга также написана «с того берега» – только не после волнений 1848 года, а после десятилетий бури советской власти. Распад Советского Союза вносит как практические, так и интеллектуальные изменения в изучение прошлого России и, следовательно, в деятельность тех, кто его интерпретирует. Открытие некогда закрытых архивов и желание понять советское прошлое без шор времен холодной войны привели к бурным дискуссиям. Некогда секретные советские документы заставили пересмотреть важнейшие события недавней истории. Дискуссии русских о прошлом своей страны тем более поразительны, что происходят они в тяжелом физическом и отчаянном финансовом положении.

Тот факт, что книга написана после окончания холодной войны, также дает возможность поразмыслить об американском энтузиазме по отношению к СССР в новом и менее враждебном политическом контексте. Возьмем один пример: более ранние историки обвиняли интеллектуалов в том, что они поддерживали Советский Союз в 1930-х годах из-за ложных левых взглядов или в целом из-за заблуждений левачества. И все же романтика экономического развития повлияла на американских наблюдателей по всему политическому спектру. Политические симпатии – то есть преданность или враждебность коммунистической партии – не могут полностью объяснить этот важный эпизод в американской интеллектуальной истории. Под впечатлением от грандиозных советских планов и под влиянием пренебрежительного отношения к отсталым русским многие американские интеллектуалы с энтузиазмом наблюдали за советскими усилиями по модернизации. И энтузиазм Запада по отношению к Советскому Союзу оказывал влияние еще долго после десятилетия депрессии. Это способствовало формированию маккартизма и началу холодной войны, когда поколение интеллектуалов с растущим презрением смотрело на свое собственное – и своих друзей – очарование Советами¹¹.

Чтобы восторгаться советской индустриализацией, не требовалось партийного билета – ни в Соединенных Штатах, ни в Советском Союзе. Многие русские, которые восхваляли быструю модернизацию, не были большевиками. Так называемые буржуазные эксперты в области сельского хозяйства, инженеры и экономисты в России – все они нашли причины поддержать советские цели коллективизации и индустриализации. Другие русские ухватились за возможность превратить свою родину в современную великую, то есть индустриальную державу¹². Западные наблюдатели также оценили заявления большевиков о рационально организованном обществе под руководством таких специалистов, как они сами.

Подобный энтузиазм существовал и за пределами России. Джеймс Скотт в своей недавней обобщающей работе «Благими намерениями государства» проводит параллели между советской коллективизацией и другими проектами того, что он называет «авторитарным высоким модернизмом» [Скотт 2005]. Как показывает Скотт, идея создания нового типа общества, организованного вокруг производства и легко контролируемого, нашла сторонников по всему миру и по всему политическому спектру. Распад СССР и окончание холодной войны уже открыли новые возможности для изучения общих взглядов, лежащих в основе этих проектов в прошлом и в настоящем.

Широко распространенное восхищение всеобщим прогрессом все же допускает упоминания о региональных различиях. Например, недавние дискуссии об «азиатских ценностях» показывают, что до сих пор сохраняется напряжение между универсалистской и партикуляристской моделями развития. С 1980-х годов лидеры Малайзии и Сингапура защищали свою модель, представляющую собой сочетание индустриализации и политических репрессий, ссы-

¹¹ Здесь важной отправной точкой все также остается [Lyons 1971]. См. также [Margulies 1968; Hollander 1981; O'Neill 1982]. Более лояльные авторы по-прежнему интерпретируют этот эпизод в первую очередь с политической точки зрения: [Pells 1973; Kutulas 1995]. Шире вопрос рассматривается в [Caute 1973].

¹² Подробнее об инженерах см. в [Shearer 1996; Bailes 1978]. Подробнее об экономистах см. в [Kingston-Mann 1999]. Идеи о сельской России выражены в [Yaney 1982; Frierson 1993; Коцонис 2006; Lih 2001].

лаясь на особые азиатские ценности. Каждая нация, по их мнению, должна найти лучшие для себя социальные и политические механизмы; универсальных теорий или форм социальной организации не существует. С другой стороны, западные критики основывают свои аргументы на понятии прав человека – то есть на наборе прав, которые применяются повсеместно, выходя за рамки культуры или государственного управления¹³. Дискуссии об азиатских ценностях разрушают политические союзы среди американцев. Мультикультураллисты, как правило левые, видят, как их доводы в пользу культурного партикуляризма реализуются правыми диктатурами. Между тем универсалисты, которых часто обвиняют в очернении других наций и культур, встают на сторону угнетенного населения.

В постсоветскую эпоху ученые все так же спорят о взаимосвязи между русским характером и экономическим развитием страны. Распад Советского Союза, который мог бы разрушить систему универсалистских теорий человеческого поведения, вместо этого вызвал к жизни мощный универсализм, в котором все разновидности человечества известны только как *homo economicus*. Это очевидно из недавних дискуссий о российской экономической политике. Гордясь тем, что они победили «предубеждение о том, что “Россия отличается”», экономисты Максим Бойко, Роберт Вишни и Андрей Шлейфер прославляли свой собственный универсализм. «Русские люди, – проповедовали они в широко читаемой монографии, – как и все остальные люди в мире, были “экономическими людьми”, которые рационально реагировали на стимулы». Поэтому России не требовалась особая форма экономической организации, «чтобы компенсировать ее предполагаемые культурные особенности и недостатки» [Boyscko et al. 1995: 9–10]¹⁴. Эти экономисты выступали за немедленную организацию институтов свободного рынка, за создание капиталистической России одним «большим взрывом». Будучи в высшей степени уверенными в том, что экономические законы одинаково хорошо применимы повсеместно и во все периоды времени, они, по иронии судьбы, были наследниками универсализма Маркса.

По мере того как экономическая «шоковая терапия» создавала в России новые недуги, критики партикуляристских взглядов обвиняли этих экономистов в неспособности учесть отличия России от Запада. Как заметил давний наблюдатель за Россией Маршалл Голдман, русские «почти всегда, казалось, чувствовали себя более комфортно в коллективной или общинной, а не предпринимательской среде». Далее он утверждает, что еще до антикапиталистических лозунгов советской эпохи «рыночная этика никогда... глубоко не укоренялась в психике» русских крестьян [Goldman 1994: 16–18]. Партикуляристы с консервативными взглядами тем временем предположили, что проблема заключалась не в методах экономистов, а в самих их целях. Например, историк Ричард Пайпс перечисляет множество причин, по которым Россия так и не развила ключевые институты западного капитализма и демократии. Явно отвергая аргумент о национальном характере, Пайпс оставляет мало возможностей для России развиваться в направлении Запада. Делая такие заявления, он слишком близко подходит к утверждению, что Россия обречена вернуться в свое прошлое¹⁵. Нам еще предстоит разрешить противоречия между всеобщим прогрессом и национальными различиями, которые Герцен наблюдал полтора столетия назад.

Рассмотренные в этой книге вопросы схожи со многими давними проблемами, которые занимали Герцена. Главным из них является вопрос о различиях. Что означают культурные различия? Являются ли они врожденными или сложились исторически? Как они формируют наше понимание человеческого поведения и социальных изменений? Из этого вытекает вопрос

¹³ См. [Kausikan 1998: 20; Mahubani 1998; Yew 1992]. Важные проблемы затронуты в [Сен 2001; de Bary 1998].

¹⁴ См. также [Shiller et al. 1991: 399; Shiller et al. 1992: 179; Boyscko 1991: 42].

¹⁵ См. [Pipes 1996: 35] и статью: Pipes R. A Nation with One Foot Stuck in the Past // Sunday Times. 1996. October 20. Сравните с [Desai 2000].

об универсальности прогресса. Как то или иное общество может найти свой собственный путь прогресса? Может ли нация преодолеть свои исторические особенности? И должна ли? Наконец, существует баланс между настоящим и будущим. При каких условиях люди могут призывать к коллективным жертвам во имя будущего благосостояния? И с какими последствиями? Российская история дала ответы на эти вопросы – по крайней мере, так полагали американские эксперты.

Представления об особенностях русского характера, вера в экономическое развитие и перестройка международного опыта – все это формировало американские представления о России и Советском Союзе в период с 1870 по 1940 год. Организация этой книги имеет целью акцентировать всеохватность, а также значимость этих тем. В главах, представляющих собой хронологию событий, подчеркивается влияние стереотипов о национальном характере, а также рост романтизации экономического развития и развитие структуры экспертных знаний. Большинство глав включают в себя биографии, которые ярко демонстрируют повсеместное распространение этих убеждений даже среди экспертов с противоположными политическими взглядами и различным личным опытом.

Часть первая посвящена американским экспертам по России в конце XIX века. Ранние американские труды в значительной степени опирались на европейские представления о России, которые кратко обсуждаются во вступительной главе. Во второй главе рассматривается, как происходила ассимиляция европейских представлений о России вплоть до российского голода 1891–1892 годов. В этой главе выявляются различия между идеями Джорджа Кеннана-старшего и ученых-дипломатов Эндрю Диксона Уайта и Юджина Скайлера. Все трое фокусировали внимание на национальном характере, но труды Кеннана содержали важные намеки на универсализм; он надеялся, что Россия сможет прогрессировать, как только будет снято проклятие самодержавия. Голод 1891–1892 годов расширил диапазон американских представлений о России. Партикуляристы описывали голод как неизбежный результат русского характера, в то время как другие питали некоторую надежду на то, что русские смогут развиваться. На рубеже веков в американских университетах появились первые эксперты по России; эти ученые являются основной темой третьей главы. Арчибальд Кэри Кулидж из Гарварда и Сэмюэль Нортроп Харпер из Чикагского университета оформили стереотипы о национальном характере, явно доминирующие среди европейских писателей, которых они знали и читали.

В части второй повествуется о том, как эти новые американские эксперты взяли на себя консультативные функции в правительстве США в революционную эпоху в России. Революция 1905 года, многие из событий которой Харпер видел своими глазами, вызвала новый интерес к российской политике и направлению будущего России. В главе четвертой рассматривается использование стереотипов о национальном характере американскими экспертами, которые мало в чем сходились, кроме инстинктивной природы русских. От консерваторов, таких как Кулидж и посол Джордж фон Ленгерке Мейер, до либералов, таких как Харпер и его меценат Чарльз Крейн, а также до самопровозглашенной группы «джентльменов-социалистов», вдохновленных Уильямом Инглишем Уоллингом, американцы интерпретировали события в России с точки зрения особенностей русского характера. Эта тенденция продолжилась во время революций 1917 года, о которых идет речь в главе пятой. Американские политики и эксперты, которые их консультировали, понимали русских как руководствующихся инстинктами и неспособных заботиться о своих собственных интересах. Идея о том, что русские нуждаются в защите Запада, стала решающим элементом поддержки американской интервенции против большевиков. После окончания западной интервенции и развала противостоявших им армий большевики столкнулись с новой проблемой: голодом 1921–1923 годов. Министр торговли Герберт Гувер использовал понимание России с точки зрения русского национального характера, чтобы оправдать американскую продовольственную помощь. Он предположил, что

русские не в состоянии говорить или действовать самостоятельно и нуждаются (по мнению американцев) в посторонней помощи. В то же время американские эксперты рассматривали индустриализацию как решение экономических проблем России. Как показано в главе шестой, они способствовали этой индустриализации даже ценой значительных трудностей для русских.

По мере того как голод отступал и американская помощь подходила к концу, на первый план стало выходить новое поколение профессиональных экспертов по России, речь о которых идет в части третьей. Джеройд Тэнкьюрей Робинсон и Роберт Кернер привнесли новые методы исторической науки в изучение России. Под влиянием последних тенденций в политической науке Сэмюэль Харпер сменил антирадикализм, которому был привержен на протяжении десятилетия, и пришел к поддержке советской политики. И такие социологи, как Пол Дуглас и Эми Хьюз, начали рассматривать Советский Союз как пример для понимания современных обществ. Эти две тенденции – обращение социологов к России и обращение экспертов по России к общественным наукам – находятся в центре внимания в главе седьмой. В следующей главе показано, как институциональная основа общественно-научных знаний по России сформировала представления американских социологов об СССР в эпоху пятилеток. Стюарт Чейз и Джордж Соул, вдохновленные своеобразным экономистом Торстейном Вебленом, высоко оценивали советское планирование. Кэлвин Брайс Гувер, опираясь на работу своего прогрессивного наставника Джона Коммонса, умерил свое неприятие советской власти благодаря восхищению ее достижениями. Педагоги Джон Дьюи и Джордж Каунтс черпали вдохновение для своих реформ в исследованиях советских культурных институтов. Эти эксперты поддерживали советскую политику не из-за какой-либо привязанности к коммунистической доктрине, а потому, что питали надежду на создание нового типа современного общества. Профессиональные журналисты, тема главы девятой, продолжили с того места, на котором остановились социологи, с энтузиазмом рассказывая об амбициозных советских планах, хотя и признавая при этом их чрезвычайные издержки. Журналисты ссылались на специфические понятия – недостатки русского характера – чтобы объяснить эти издержки. В заключительной главе рассматривается одно из убежищ партикуляризма – дипломатическая служба. Американские дипломаты продолжали подчеркивать отличия русских от американцев и использовали эти различия для объяснения последствий (и особенно неудач) советской политики. Кеннан-младший и его коллеги Чарльз Боулен и Лой Хендерсон – все они ссылались на национальный характер в своих анализах России. В исследованиях Кеннана – за исключением по иронии судьбы того, что сделало его знаменитым, – подчеркивались русские черты, а не советская идеология. Но в его прорывной статье, так называемой статье «X» 1947 года, Советский Союз рассматривался в первую очередь с идеологической точки зрения. Эта статья представляла собой новую универсалистскую парадигму мышления времен холодной войны. К началу 1950-х годов партикуляристские представления отодвинулись на периферию академической науки о России, и в то же время академическая мысль переместилась в центр американской интеллектуальной жизни. И именно этой ситуацией завершается данная книга.

Рассмотрение вопросов экономического прогресса и культурных различий в Америке начала XXI века приобретает новое значение, но вместе с тем приносит с собой новые трудности. Как универсализм, так и партикуляризм обладают значительной культурной силой. Экономисты и должностные лица, занимавшиеся вопросами развития (такие как российские шокотерапевты), предлагают поразительно похожие рецепты – обычно заключающиеся в расширении рынков – для широкого спектра обществ с поразительно разной историей, культурными нормами и экономическими структурами. В то же время мультикультуралисты отмечают в культурной и образовательной сферах культурные различия и относятся к универсализму как к беззастенчивому этноцентризму.

Изучение истории этих идей показывает опасность как партикуляристского, так и универсального подхода. Оценка культурных различий как единственного общественного блага

заслоняет важные материальные нужды. Культурные различия уже стали одним из «собира- тельных существительных», о которых сожалел Герцен, представляющих собой алтарь, на кото- ром приносятся в жертву материальные цели¹⁶. И все же универалистский взгляд на то, что все люди одинаковы и должны иметь одинаковые цели, вряд ли более привлекателен. Он уни- чтожает резко различающееся прошлое и настоящее наций, одним штрихом стирая историю. «Мы не возвещаем новых откровений, – писал Герцен в работе “С того берега”, – а уничто- жаем старые ошибки». Я тоже не могу «возвестить новое откровение», новый способ урав- новесить прошлые обстоятельства нации, ее нынешние условия и устремления к будущему. Я могу только надеяться, продолжая слова Герцена, что получится навести понтоны и «вели- кий незнакомец... будущий пройдет по нему...» [Герцен 1955: 314].

Подъем универсализма в американской мысли середины XX века был одним из таких мостов. Он ознаменовал собой благотворный отказ от представлений о культурных разли- чиях, коренящихся в неизменных факторах. Универсалистские континуумы – от неразвитых до развитых экономик или от отсталых до развитых стран – допускали возможность улучше- ния¹⁷. Они явно противоречили представлению о том, что кровь (раса) или земля (география) ограничивают и определяют перспективы страны. Высоко оценивая индустриализацию как эффективное средство преодоления национальных особенностей, универсалисты разрушили партикуляристское представление о том, что нация обречена на вечную нищету. И все же уни- версализм, независимо от того, поддерживали ли его европейские радикалы XIX века или аме- риканские социологи XX века, вряд ли разрешил противоречия между культурными различиями и экономическим прогрессом.

По прогнозам Маркса и Энгельса, промышленность создаст новый мировой порядок, в котором нации не будут иметь значения. Они предполагали, что промышленный капита- лизм сотрет с рабочих «всякий национальный характер» [Маркс, Энгельс 1955: 434]. Реа- лизация этого универсалистского видения, особенно при правительствах, провозглашающих себя наследниками идей Маркса, включала опасные и в конечном счете смертельные действия. Теперь, когда прославляемый этими революционерами «призрак коммунизма» отступил, мы находимся в лучшем положении, чтобы понять очевидных призраков культурных различий и модернизации.

Обратите внимание, что эта книга была переведена с английского издания 2004 года лишь с небольшими исправлениями и пояснениями. Перечитывая ее спустя почти два деся- тилетия после первоначального написания, я вижу много мест, где я бы по-другому интер- претировал анализируемые события или даже изменил бы свои взгляды на них. Если бы я написал ее сейчас, в 2020-х годах, то получилась бы совершенно другая книга. Поэтому я решил оставить ее как исторический документ своего времени – первоначально представлен- ный в 1998 году в качестве диссертации и переработанный с учетом научных и общественных проблем начала XXI века.

¹⁶ Этот довод едва ли можно назвать новым; в совершенно разных контекстах он появляется в сочинениях двух самых влиятельных мыслителей в американских университетах: [Rorty 1998; Андерсон 2001].

¹⁷ Недавно антропологи стали утверждать обратное: что рассматривать некоторые общества как отсталые – то, что назы- вают «аллохронизмом», – это форма острашения. См. [Fabian 1983].

Часть I

САМОДЕРЖАВНАЯ РОССИЯ, СПЯЩИЕ РУССКИЕ

Глава 1

Власть климата

Русские были другими. Еще до того, как в XVIII веке Россия стала политическим образованием, европейцы отмечали, что люди, живущие к востоку от реки Вислы, существенно отличаются от них. Политические границы и режимы на этой территории менялись (от средневековой Руси к Московии раннего Нового времени и до появления Российской империи в начале XVIII века), но в западных источниках черты русского характера описывались примерно одинаково. Дипломаты, торговцы и путешественники были единодушны с ведущими деятелями французского Просвещения, описывая славянские черты: консерватизм, пассивность, отсутствие гигиены, фатализм и общую отсталость.

Даже когда Россия заметно выросла географически и демографически, именно этими характеристиками продолжали объяснять особенности русской жизни¹⁸. Киевская Русь IX века занимала лишь небольшую часть территории нынешней России и Украины, однако смогла выработать идеологическую основу Российской империи, в частности, тесную связь между монархией и православной церковью. В XIII веке, после распада Киевского государства, славянские земли оказались под «татаро-монгольским игом», которое стало постоянным и идеологически заряженным рефреном в русской истории. На рубеже XVI века московский князь «собрал русские земли» в единое целое – Московию. Вскоре после этого началось непрерывное, хотя и нерегулярное присоединение земель и народов, доходившее до нескольких фортов на побережье Калифорнии. К XIX веку Российская империя насчитывала более 100 миллионов подданных, включавших в себя сотни различных этнических групп со своими языками: от корейцев на юго-востоке и до поляков на северо-западе, от малочисленных народов приполярного Севера до грузин и армян на Кавказе и мусульман в Центральной Азии. Кроме этнических и религиозных различий среди населения существовали сословные различия. Все сословия, от крепостных до дворян, были обязаны своим положением царю, позже императору (титул позаимствован с запада). Местное руководство было лишь продолжением централизованной власти; все подданные полностью подчинялись царю.

Однако среди этого множества отличий можно выделить несколько основных тенденций. Согласно первой Всероссийской переписи населения (1897), 72 % жителей России были славянами (около 43 % русских, остальные украинцы, белорусы и поляки), а 86 % проживали в сельской местности. Более 75 % подданных были крестьянами. Кроме того, до отмены крепостного права в 1861 году землю возделывали преимущественно крепостные, которые принадлежали крайне немногочисленной (хотя не всегда очень богатой) знати или непосредственно государству.

Для страны, экономика которой основана на сельском хозяйстве, климатические условия не были благоприятными. Пахотные земли составляли лишь одну десятую территории страны, и даже на этой земле вегетационный период был примерно в половину меньше, чем в Западной Европе – безусловно, российское сельское хозяйство было наименее продуктивным в Европе. Рост населения в XIX веке был столь же высоким (если не выше), как и рост производительности труда, что осложняло способность России удовлетворять потребности своих подданных.

¹⁸ Для написания этих абзацев использован материал из [Suny 1998, chap 2; Riasanovsky 1993].

Положение дел в России XIX века легко демонстрировало ее отличия от Западной Европы: в политической системе, экономической организации, свободе выражения мнений и общем благосостоянии. Тем не менее европейцы продолжали наделять Россию XIX века теми же характеристиками, что и Русь или Московию.

В европейских описаниях России шире всего обсуждалась тема тирании. Идея деспотической России была настолько устойчива, что она переживала смену как правителей, так и целых династий и даже режимов. Большинство обозревателей считали особенности России неизменными, даже природными; они приписывали их ландшафту и климату территории страны. Огромные равнины и долгие зимы России сформировали русский характер. И хотя в этом отношении русский народ нельзя считать чем-то исключительным, европейские исследователи связывали все характерные черты нации именно с ее географическим и климатическим положением.

Европейцы породили идеи о России, которые американцы XIX века изучали, цитировали и в конце концов признали своими. Большинство европейских трудов, описанных в этой книге, используют партикуляристский подход: русские по своей сути отличаются от европейцев. Однако в Америке эта мысль не стала так популярна, как сам список черт русского характера. Американские эксперты XIX века отделяли характеристики от причин их возникновения. Американизация европейских представлений об отличиях происходила в условиях противоречий и путаницы, поскольку американские эксперты ссылались на указанные европейскими писателями вневременные черты, но допускали возможность, что эти черты могут измениться. Вторя европейским идеям о географическом происхождении русского характера, некоторые американские авторы стали утверждать, что национальный характер может измениться при новом политическом строе или в конечном счете в новой экономической системе. В то время как устойчивые европейские взгляды на национальный характер противоречили более подверженным изменениям американским взглядам, они также установили интеллектуальные границы, в пределах которых проходило большинство западных дискуссий о русском характере.

Этнографы раннего Нового времени считали, что деспотический характер русских правителей был тесно связан с природой самих русских. Сигизмунд фон Герберштейн, дипломат XVI века из Вены, заложил основу будущих дискуссий, размышляя о том, требовал ли характер русских деспотического государства или само деспотическое государство изменило характер русских. В его книге «Заметки о Московии» (1517–1549), наиболее часто цитируемом (и копируемом) описании Российского государства раннего Нового времени, выбрано первое: «Этот народ, – писал он, – имеет более склонности к рабству, чем к свободе»¹⁹. Столетие спустя Адам Олеарий, другой дипломат из Центральной Европы, перефразировал Аристотеля, чтобы сделать аналогичное утверждение: русские «годятся только для рабства». Русские настолько пассивны, писал он, что их надо «гнать на работу плетью и дубинами»²⁰. Таким образом, деспотизм и нищета были уделом русских.

По мере того как в раннее Новое время западноевропейская культура становилась все более уверенной в своих силах и самосознательной, размышления о России начинали играть важную косвенную роль. Важнейшие компоненты европейской идентичности выросли из контактов с обществами и народами на востоке. На это намекает Ларри Вульф, утверждая, что многие из определяющих концепций эпохи Просвещения (цивилизованное общество, цивилизация и, возможно, даже сама Европа) возникли в результате интеллектуального взаимодействия с жителями самых восточных земель Европы. Концепции цивилизации применительно к России чаще всего основывались на деятельности царя Петра I (1682–1725). Петр Великий предпринял амбициозные усилия по европеизации России. Он построил город Санкт-Петербург

¹⁹ Цит. по: [Рое 2000: 164].

²⁰ См. [Рое 2000: 165; Вульф 2003: 45].

бург (получивший немецкое название) как «окно в Европу»; он путешествовал по Западной Европе, изучая военные и экономические практики; и он ввел новые законы, чтобы заставить русское дворянство выглядеть и вести себя более по-европейски. Западноевропейские мыслители восторгались Петром, в чем присутствовал оттенок нарциссизма, поскольку он стремился сделать своих подданных более похожими на них.

Даже барон Шарль де Монтескьё, который рассматривал действия Петра как «примеры тирании», тем не менее высоко оценил эти изменения. В книге «О духе законов» (1748) Монтескьё утверждал, что прежние обычаи России сами по себе были иностранным импортом. Эти манеры, которые Петр считал грубыми, были остатком предыдущего – то есть татарского – завоевания. В процессе европеизации России Петр возвращал русских к их естественным манерам и обычаям. Что же делало эти обычаи естественными? Здесь Монтескьё использовал климатологическую теорию национального характера и ввел ее в более широкое употребление. «Власть климата, – писал он, – сильнее всех иных властей». Климат сформировал традиции каждой нации, которые, в свою очередь, сформировали национальный характер и в конечном счете структуры правительства. Климат повлиял на инициативу и самостоятельность народа. Согласно Монтескьё, Россия прочно вошла в Европу, поэтому реформы Петра просто даровали «европейские нравы и обычаи европейскому народу» [Монтескьё 1955: 265]. Но другие использовали аргумент Монтескьё о климате, чтобы прийти к противоположному выводу, а именно, что Россия не находится в Европе и что русские безнадежно отличаются от европейцев [Вульф 2003: 307–308].

Не все философы были так очарованы Петром или его подданными. Например, в одной из центральных работ французского просвещения, книге Жан-Жака Руссо «Об общественном договоре» (1762), Россия использована в качестве основы для описания западноевропейских политических систем. Избегая рассуждений о климате, Руссо утверждал, что формы правления могут быть непосредственно выведены из национального характера. «Мудрый законодатель, – писал он, – испытует предварительно, способен ли народ, которому он их предназначает, их выдержать» [Руссо 1998: 233]. Усилия Петра Великого по модернизации, утверждал Руссо, были плохо приспособлены для самих русских; Петр хотел «просветить и благоустроить» русский народ, «в то время как его надо было еще приучать к трудностям этого» [Руссо 1998: 235; Вульф 2003: 300–301]. Любые попытки превратить «диких» русских в граждан, а не в подданных, противоречили их врожденному характеру.

Если русские не были европейцами или цивилизованными людьми, то кем они были? На протяжении раннего Нового и Новейшего времени представления о России накладывались на представления об Азии и Востоке. Из-за плохо развитой картографии, согласно которой граница между Европой и Азией помещалась где-то между реками Волгой и Обью, большинство европейских географов соглашались с тем, что Россия находится в двух частях света. (Только в XIX веке представление о том, что Европу от Азии отделяют Уральские горы, стало общепринятым²¹.) Географическое разделение обосновывало концепцию о культурных различиях. Таким образом, черты характера, приписываемые русским, в значительной степени совпадали с чертами, присущими азиатам. Этот запутанный комок категорий, включающий восточные и азиатские, «нецивилизованные» и неевропейские народы, определил русских как народ, заметно отличающийся от живущих западнее. Короче говоря, Российская империя рассматривалась только в контексте своей инаковости или непохожести на западноевропейские общества и народы.

По мере того как Российская империя расширялась на восток и юг, включая в себя народы Кавказа и Центральной Азии, географические категории запутывались еще больше. Как имперская держава Россия предприняла европеизацию Азии. Тем не менее в других кон-

²¹ См. [Lewis, Wigen 1997, ch. 1–2; Бассин 2005].

текстах эта имперская нация – безусловно, в прошлом и зачастую в настоящем – сама оставалась азиатской. Но эти изменчивые концептуальные категории, как правило, мало кого из европейских или американских наблюдателей волновали своей двусмысленностью или противоречиями.

Хотя отличия России от Европы обычно оценивались как нечто негативное, подъем романтического национализма в начале XIX века породил конкурирующую точку зрения. Романтики верили, что у каждого народа есть свой собственный дух или национальный гений, выраженный в культурных, политических и общественных формах. Когда романтики начали использовать национальные черты, русские предложили то, что историк Мартин Малиа назвал «душой на экспорт». Дары России в виде духовности, психологической глубины и коллективизма были видны во всем: от социальной организации до культуры. Восхваление самобытности России, известное в России как славянофильство, эхом разнеслось по всей Европе. Те, кто интересовался искусством, музыкой, живописью и танцами, находили в этих творческих формах выражение русского гения [Riasanovsky 1952: 171–174; Malia 1999: 130–133, 207].

В то время как европейские писатели и этнографы воспевали свое отличие от русских, межгосударственная политика протекала в совершенно иной плоскости. Уделяя гораздо меньше внимания национальному характеру, чем другие наблюдатели, королевские дома Европы в XVIII и XIX веках приветствовали русских царей как полноправных членов своей международной системы²². Россия была исключена из европейской цивилизации, но тем не менее являлась частью европейской политической системы. Высмеиваемая интеллигенцией как варварская и азиатская, Россия все же породила экзотические культурные явления, которыми восхищались во всей Европе. Хотя отмечалось, что Россия участвует в цивилизаторской миссии Европы, ее членство в клубе цивилизованных наций само по себе было под сомнением.

Эти дихотомии между политикой и культурой, цивилизованным и нецивилизованным часто переносились на само российское общество. Как местные, так и зарубежные комментаторы описывали российское общество как тонкий слой европейской элиты, члены которой если и не проживали еще в столице империи Санкт-Петербурге, то стремились туда попасть. Остальную часть общества они отождествляли, часто в уничижительном смысле и с оттенком безысходности, с массой варваров-крестьян. Более того, сама идея о том, что Россия находится между Азией и Европой, могла принимать две формы. В географической модели разделительная линия между Азией и Европой проходила где-то на российской земле, в то время как в социологической модели подчеркивалось, что самих русских можно разделить на небольшую цивилизованную элиту и огромное количество крестьян-азиатов. Однако, независимо от оси различий, лишь немногие комментаторы утверждали, что Россия является полностью европейской.

Когда Просвещение и Французская революция ознаменовали начало Нового времени, эти категории не получили почти никакого развития – фактически они изменились меньше, чем сама Россия. Когда царь Николай I взошел на престол в 1825 году, основные понятия, характеризующие Россию, – нецивилизованная, отсталая, деспотическая и азиатская, но духовная и коллективная – имели четко узнаваемых предшественников, отстоящих на три столетия. Расширение торговых, политических и культурных связей между Россией и остальной Европой, и все в большей степени с Соединенными Штатами, вызвало у иностранцев новую потребность интерпретировать Россию. Новое поколение наблюдателей за Россией в Европе проводило свои исследования, используя концептуальные категории, передававшиеся веками.

Автором одного из самых замечательных среди этих новых описаний был французский аристократ маркиз Астольф де Кюстин, который путешествовал по России в 1839 году. Как и его современник и соотечественник Алексис де Токвиль, де Кюстин больше внимания уде-

²² В [Gong 1984: 100–106] предполагалось, что термин «цивилизация» в раннее время не включал Россию.

лял политической теории, чем путевым заметкам. Он хотел посетить «жандарма Европы», как тогда называли Россию, в поисках аргументов против представительного правления. Он вернулся либеральным конституционалистом – с сильным отвращением к российским институтам и русским людям. Как и Герберштейн тремя столетиями ранее, де Кюстин пришел к выводу, что деспотизм в России был вполне заслуженным: «Другие народы терпели гнет, русский народ его полюбил; он любит его по сей день» [де Кюстин 1996, 2: 77]. Русские не были созданы деспотизмом, они сами его создали. И этот деспотизм возмутил его настолько, что перевернул его политические убеждения. Несмотря на то что де Кюстин неизменно отрицательно отзывался о своем опыте посещения России – пересекая границу по пути обратно во Францию, он провозгласил: «Я свободен!» [де Кюстин 1996, 2: 315], – тем не менее, рисуя портрет русских, де Кюстин в своем описании использовал не только отрицательные, но и положительные краски. Русские «суеверны» и «ленивы», но в то же время «поэтичны» и «музыкальны»²³. Другими словами, русский характер выражался как в достойной осуждения политической системе, так и в экзотических искусствах.

Другое известное западное описание России середины века, написанное немецким аристократом, было посвящено не столько государственному управлению и культуре, сколько экономическим вопросам. В этом докладе, как и в работе де Кюстина, были отмечены различия между Россией и Европой. Барон Август фон Гакстгаузен посвятил большую часть своего путешествия по России сельской жизни и сельским учреждениям, особенно *миру*, или общине. В XIX веке крестьянская община была основным центром внимания для изучающих Россию как наиболее характерный аспект российского сельского хозяйства. Для набирающего силу славянофильского движения, которое отмечало уникальность России и ее удаленность от европейских социальных структур, община олицетворяла собой особый вклад России в мировую цивилизацию. *Мир* осуществлял свою деятельность на основе коллективного предприятия, а не конкуренции. Община раскрывала тесную связь между крестьянами и землей и была свободна от индивидуализма, секуляризма и анонимности, присущих развивающейся городской жизни в Западной Европе. Как выразился славянофил К. С. Аксаков, «община есть союз людей, отказывающихся от своего эгоизма, от личности своей, и являющих общее их согласие... [это] торжество духа человеческого» [Аксаков 1861: 291–292; Frierson 1993: 102]. Критика экономической отсталости России также сосредоточилась на общине, анализируя многие из тех же признаков. Коллективное принятие решений, утверждали эти критики, подрывало индивидуальную ответственность и стимулы, а также делало общину жесткой и консервативной. Для западников в России и за ее пределами община также была символом уникальности России – хотя и с негативной валентностью.

Взгляд Гакстгаузена на *мир* во многом совпадал с идеями славянофилов. Подобно славянофилам, этот немецкий путешественник признавал и даже восторгался паутиной взаимных обязательств, определявших жизнь в общине. Но Гакстгаузен не призывал к славянофильству. Описывая общину как гибкое и отвечающее требованиям времени учреждение, он также предсказал, что общинные принципы в конечном итоге уступят место частным интересам и конкуренции. Гакстгаузен предложил анализ *мира*, при котором славянофильские предпосылки приводили к западническим выводам. Он разделял мнение славянофилов о том, что *мир* выражает «фундаментальный характер славянской расы». *Мир* олицетворял все, что было уникального в славянском крестьянстве, в первую очередь общинные инстинкты и тесную связь с землей. Но Гакстгаузен также объявил общину экономическим провалом; она «не обладала условиями для достижения прогресса в сельском хозяйстве». *Мир*, кроме того, выявил некоторые из наиболее проблемных аспектов русского характера – такие черты, как лень и консерватизм. Хотя в более поздние годы взгляды Гакстгаузена эволюционировали, именно его

²³ См. [Кеннан 2006, глава 2].

предшествующие идеи, опубликованные в путевых заметках, сформировали понимание России другими²⁴. В этой книге общинный принцип был канонизирован как центральный элемент не только русской жизни, но также русского характера. Герцен свободно заимствовал у Гакстгаузена в своих описаниях крестьян, даже отмечая со смущением, что потребовался немец, который бы «открыл... народную Россию»²⁵.

Открытие русских крестьянских институтов вряд ли было той простой задачей, которую подразумевал Герцен. Напряженные споры о значении *мира* (как признака уникальности России или источника ее экономических проблем) вряд ли способствовали точному пониманию истории и особенностей крестьянской общины. Ее прошлое было (и остается) окутано тайной. Славянофилы восприняли эту неопределенность как свидетельство органической эволюции *мира*, а не как указание на его неравномерное и многоплановое развитие под влиянием налоговых сборов, крепостной зависимости и сельскохозяйственного производства. Определение историка Джеройда Тэнкьюрея Робинсона предполагало множество функций и интерпретаций общины; он назвал *мир* «организацией, распределяющей налоги и ответственной за налоги, с определенными функциями контроля над землей, которые отнюдь не были четко определены в документах того времени, однако либо уже выросли, либо в конечном итоге разовьются в ту широкую общность земельных интересов, которая (по крайней мере в более поздние времена) была так характерна для русской крестьянской жизни» [Robinson 1969: 12]. Таким образом, *мир* был инструментом общинного контроля над землей. Частые переделы земель, посредством которых владения перераспределялись и уравнивались между семьями общины, предполагали сильную веру в равенство; по крайней мере, так это видели славянофилы. Тем не менее решающая роль общины в сборе налогов подтверждается распространением перераспределительной общины после введения в 1724 году подушной подати. Владельцы крепостных, ответственные за сбор налогов с каждого из своих крестьян, были фискально заинтересованы в том, чтобы каждый крепостной мог позволить себе заплатить налог²⁶. Однако, будь она порождением русской души или подушной подати, община играла важную роль в любых дискуссиях о будущем России.

Карл Маркс рассмотрел анализ крестьянской общины своего соотечественника с большим интересом и еще большим презрением. В письме Фридриху Энгельсу в 1858 году Маркс высмеял легковерие Гакстгаузена, принявшего спланированный коммунизм, пропагандируемый российскими властями. За «потемкинскими деревнями», как предположил Маркс, располагались ветхие сооружения, разрушенные развитием капитализма. Он настаивал на том, что капиталистическое развитие неизбежно приведет к социализму. Согласно его теории, единственный вклад, который крестьянская община может внести в прогресс, – это исчезнуть под давлением сельского капитализма. Все страны будут двигаться по одной и той же траектории. Капитализм без всяких различий между странами и народами оставит только два противостоящих друг другу класса: пролетариат и буржуазию. Мысль о том, что нация может найти обходной путь на этом историческом пути, была для Маркса кощунством. Только Азия, стоявшая вне исторического прогресса, могла избежать неумолимого движения к социализму. Таким образом, утверждения Герцена и Гакстгаузена о том, что русский *мир* может стать ядром российского социализма (то есть может помочь России обойти капитализм), противоречили не только пониманию Марксом России, но и его пониманию истории.

Позже Маркс пересмотрел эти взгляды на Россию. После краха Парижской коммуны в 1871 году, из-за которого революция в Европе стала казаться менее вероятной, он обратил

²⁴ См. [Naxthausen 1856, 1: 66; 2: 233; Starr 1968: 477].

²⁵ Здесь Герцен соглашается с историком Жюлем Мишле [Герцен 1956: 335–336].

²⁶ См. [Blum 1961, chap. 24]. Несмотря на то что существуют важные различия между *миром* и общиной (сходная форма крестьянского коллективного быта), здесь они оставлены в стороне – до Второй мировой войны лишь немногие иностранные специалисты наблюдали эти различия. См. [Grant 1976; Watters 1968].

свой взор на восток, где его работы широко читались и горячо оспаривались. И он, и Энгельс выучили русский язык и погрузились в экономические отчеты и политическую полемику о русской деревне. Даже эти негибкие универсалисты пришли к предварительному и плохо выраженному выводу, что панегирики Герцена в адрес русской общины, возможно, в конце концов были правомерны. В письмах, предисловиях и очерках – но никогда в объемных трудах – Маркс утверждал, что *мир* на самом деле может быть семенем социалистического порядка в России, «лучшим шансом, когда-либо предоставленным историей нации... [чтобы избежать] всех фатальных превратностей капиталистического режима»²⁷. Мысль Маркса эволюционировала от универсализма в середине века к партикуляризму в последние годы его жизни. Маркс в конце концов примирился с наследниками Герцена, русскими народниками, а также, косвенным и непризнанным образом, с немецким писателем, которого он когда-то высмеивал²⁸. Однако новые взгляды Маркса на Россию не были широко известны за пределами узкого круга революционеров.

Работа Гакстгаузена стала обязательным чтением для людей Запада, интересующихся Россией, особенно для тех, кто был равнодушен к революции. Его описание общинного принципа часто появлялось в западноевропейских, а затем и в американских работах о России. Книга Гакстгаузена также оказала влияние на, возможно, самую важную англоязычную работу о России в XIX веке – книгу Дональда Маккензи Уоллеса с емким названием «Россия». Впервые опубликовав ее в 1877 году, Уоллес прямо заявил, что многим обязан Гакстгаузену. Как и его немецкий предшественник, Уоллес подчеркивал экономические ограничения общинного сельского хозяйства. Как практичный англичанин он рассматривал общину в первую очередь с точки зрения ее социальных и политических функций, а не духовного значения. Однако Уоллес не игнорировал русский характер. Он предложил как положительные, так и отрицательные черты, которые делали русских уникальными. Крестьянин демонстрировал «замечательное отсутствие злопамятности и мстительности» [Маккензи Уоллес 1881: 222], обладая «такой силой выносливости и терпения, которая сделала бы честь любому мученику», а также имел «способность к продолжительному, упорному, пассивному сопротивлению» [Маккензи Уоллес 1881: 257]. Но Уоллес сослался и на «плохие рабочие привычки русских [и] минимальные усилия», а также на их «неисправимую лень» [Маккензи Уоллес 1881: 328]. Уоллес рассмотрел этот последний пункт с географической точки зрения: для прибывающих в Россию с востока, предположил он, русские будут казаться достаточно энергичными, в то время как те, кто приезжает с запада, видят их ленивыми. Способность к упорному труду, казалось, постепенно уменьшалась с запада на восток. Уоллес возложил вину за экономические проблемы России не на общину, как это сделал Гакстгаузен, а на эти черты характера, и особенно на непредусмотрительность [Kingston-Mann 1999: 169–170].

Сразу после «России» Уоллеса вышла еще одна крупная работа европейского автора, которая оказала еще более значительное влияние на американских экспертов по России: книга французского историка Альфреда Рамбо «История России с древнейших времен до 1877 года». Рамбо был гораздо больше озабочен историческими проблемами, чем многие пишущие о России до него. Но его научное исследование также служило современной политической цели: способствовать союзу между Россией и Францией. Рамбо подкреплял свой интерес к дипломатическому союзу этнографическим аргументом, подчеркивая сходство между французами и русскими. Он обвинил в навязывании деспотизма «монгольские орды», утверждая, что российское государство не соответствует желаниям русского народа. Его книга поражает как своими историческими подробностями, так и почти полным отсутствием внимания

²⁷ Цит. по: [Walicki 1989: 187].

²⁸ Литературы о соприкосновениях Маркса с Россией огромное количество. В основном я руководствовался [Walicki 1989: 179–194; Kingston-Mann 1999, ch. 6; White 1983; Naarden 1990; Shanin 1983].

к национальному характеру. И все же утверждения об уникальности России и ее удаленности от Европы тем не менее вкрадываются в его аргументацию. Его описание крестьянской общины, например, заимствовано из славянофильского представления о том, что *мир* представляет собой «исконный» элемент русского общества. В этом смысле задача Рамбо была подобна задаче Монтескье: используя географию и климат (тему первых глав Рамбо), утвердить принадлежность России к Европе²⁹.

Соотечественник Рамбо Анатолий Леруа-Больё использовал тот же подход в своем историческом труде «Империя царей и русских» (1881), хотя и для противоположных политических целей. Главная цель Леруа-Больё состояла в том, чтобы объяснить огромную культурную отдаленность России от Франции в надежде сохранить значительную политическую дистанцию между двумя державами. Но он разделял с Рамбо общую структуру, начиная свою работу пространственным обсуждением влияния климата и географии на русскую жизнь. Леруа-Больё представил подробный и неодобрительный анализ национального характера, акцентируя внимание на ненадлежащих рабочих привычках русских, терпении, покорности и отсутствии индивидуальности. Самые резкие слова он приберет для описания фатализма, который считал величайшим недостатком русского характера. Леруа-Больё нашел корни всех этих черт в земле: покорность и смирение русских, объяснил он, являются результатом их постоянной борьбы с природой. Отсутствие оригинальности и индивидуальных различий, аналогичным образом, может быть объяснено длинными участками ровных равнин и общим отсутствием географических особенностей³⁰.

Доводы Леруа-Больё были не очень оригинальны. Его логика и язык во многом совпадали с Монтескье и его «властью климата», хотя целью Леруа-Больё было отделить Россию от Франции, в то время как Монтескье стремился к сближению. Поскольку исторический труд Леруа-Больё стал ключевым справочным материалом для европейских и американских экспертов по России, его перечень черт русского характера и объяснение причин их возникновения также стали весьма распространенными доводами среди большинства, если не всех, наблюдателей за Россией.

Эти авторы от Герберштейна в 1549-м до Леруа-Больё в 1877 году оценивали политический и экономический потенциал России с точки зрения национального характера. Подчеркивая такие черты, как лень и фатализм, они объясняли отсталость России как следствие характера ее жителей. Видя причины русского характера в климате и географии, европейская традиция предлагала мало возможностей для положительных изменений. Отсталость считалась не просто относительным состоянием, но неотъемлемым и постоянным.

²⁹ См. [Rambaud 1886, 2: 265; Cooley 1971: 204].

³⁰ См. [Leroy-Beaulieu 1902; Cooley 1971: 290–291].

Глава 2

Терпение без границ

Американские наблюдатели разработали более гибкое определение русского характера, чем Анатолий Леруа-Больё и Альфред Рамбо. Несмотря на то что их доводы противоречили друг другу, оба француза утверждали, что причины особенностей русского характера – пассивности, вялости и фатализма – кроются в земле и климате страны. В отличие от них, автор самых читаемых американских работ о России XIX века Джордж Кеннан описал аналогичный набор черт русского характера, оставив при этом открытой возможность индивидуальной трансформации. Свободно заимствуя формулировки и логику дискуссий о внутренних реформах и по поводу положения бедных и бесправных, американские наблюдатели за Россией использовали те же аргументы относительно характера, что и европейские ученые. Мысли американских современников Кеннана, дипломатов Юджина Скайлера, Эндрю Диксона Уайта и Чарльза Эмори Смита, а также писателей Уильяма Дадли Фоулка и Изабель Хэпгуд, были более созвучны с идеями французских историков, – но даже они допускали, что у русских есть шанс на положительные изменения, каким бы незначительным он ни был. Американские авторы импортировали определение русского характера, но модифицировали аргументы о его происхождении. Как правило, они утверждали, что русский характер, хотя он глубоко укоренен, при правильных политических обстоятельствах может измениться к лучшему. По мнению этих американцев, в русском характере и созданных им экономических условиях было виновато царское самодержавие. Во время голода 1891–1892 годов американские наблюдатели и чиновники, занятые оказанием помощи, во всем винили как крестьянство, так и царский режим. Учитывая предполагаемую неспособность крестьян заботиться о себе, эти аналитики возложили основную ответственность за условия жизни крестьян на самодержавие. Лишь небольшая группа авторов-марксистов, проживающих в Нью-Йорке, но участвующих в дебатах среди русских радикалов по ту сторону Атлантического океана, заняла универсалистскую позицию, согласно которой Россия в 1890-х годах находилась на пути к современному обществу.

На западе часто критиковали деспотизм в России, и не без оснований. Власть самодержца и повсеместность государственного контроля принесли России прозвище «жандарм Европы». Цитируя «Свод основных государственных законов» 1832 года, все ее законы и уставы «исходят от самодержавной власти». Самодержавие России XIX века серьезно ограничивало культурные и особенно политические свободы, само будучи практически ничем не ограничено и довольно некомпетентно. (В ходе борьбы за введение конституции в 1905 году один критик заявил, имея в виду царя Николая II, что России для ограничения монархии не нужна конституция: у нее уже есть ограниченный монарх. Хотя предшественники Николая были более эффективны, чем он, самодержавие вряд ли можно было назвать эффективным руководящим механизмом.) Из-за преследования оппозиции тысячи людей были отправлены в сибирскую ссылку, а еще больше эмигрировали в Западную Европу. Никакие представительные институты, даже консультативные, не обеспечивали такой политической силой, которая могла бы конкурировать с императорским двором. Царская бюрократия также контролировала экономическую деятельность: ограничивала распространение фабрик, владела большим количеством крепостных и регулировала (или монополизировала) торговлю ключевыми товарами [Rogger 1983: 15, 22]. Независимо от того, выражало ли это природу русского характера или нет, российский режим действительно был жестким.

Вместо того чтобы утверждать, как это делали Леруа-Больё и его предшественник маркиз де Кюстин, что русский характер породил русский деспотизм, писатели викторианской Америки предположили, что русский характер явился продуктом деспотизма. Политическая обстановка формирует характер, а не наоборот. Это различие в точках зрения делает внешнее

сходство с французскими авторами еще более поразительным. Те, кто использовал викторианский довод о положительных изменениях, опирались на знакомый список черт характера и часто ссылались на европейские авторитеты. Тем не менее они также утверждали, что русский характер в конечном счете может быть преодолен.

Напряжение между отличием и возможностью положительных изменений проявилось, с соответствующими поправками, в важных элементах викторианской мысли в Америке. Она включала в себя основные принципы Викторианской эпохи: чувство оптимизма, веру в совершенствование личности, понимание преимуществ упорядоченного общества и убежденность в том, что характер определяется способностью преодолевать природу и естественные побуждения. Придерживаясь представлений о культурной иерархии, основанной на личных добродетелях, американские викторианцы оставляли открытой вероятность (по крайней мере теоретически), что отдельные люди и, возможно, даже целые народы могут совершенствоваться. Но теория и практика не всегда совпадают. Народы, которые теоретически могли бы добиться положительных изменений, редко хотели воспринимать их как равных себе. По словам историка Дэниела Уокера Хоу, это противоречие (между возможностью перемен и закоренелостью иерархий) стало «одним из самых трагических противоречий в американской викторианской культуре» [Howe 1975: 528].

Эти противоречия в американской мысли определили контуры американских взглядов на Европу, а также национального самоопределения. Мысль о возможности совершенствования в американском викторианстве была заметнее, чем в британском, и гораздо более распространена, чем где-либо в континентальной Европе³¹. Идея неизменности характера, предложенная Рамбо и Леруа-Больё, нашла лишь скудную поддержку среди американцев, надеющихся изменить политическую обстановку в России и внести свой вклад в экономические преобразования в этой стране. Более того, идея о том, что русский деспотизм (а не природа русских) создал экономические проблемы этой страны, послужила подтверждением идентичности Америки как процветающей, прогрессивной и демократической нации. Достижения нации стали результатом не только материальных условий, но и борьбы за успех. Таким образом, даже те американцы, которые громче всех заявляли об особенностях русского характера, также предполагали, что русские могли бы преодолеть свое прошлое, став более демократичными, прогрессивными, цивилизованными – и, возможно, более американизированными.

Дискуссии о русском характере изначально велись в журналах, циклах лекций и книгах для широкого круга читателей. Отсутствие в Соединенных Штатах какой-либо институциональной основы для изучения России резко контрастировало с развитой инфраструктурой изучения славистики в Париже. Даже в немецких и английских университетах, в которых также отсутствовали подобные формальные организации, было больше ученых, занимающихся славистикой и русистикой, чем в Америке³². Первые широко читаемые американские работы о России были написаны путешественниками и писателями-любителями, а не учеными и журналистами, как в Европе. Хотя некоторые эксперты-любители ссылались на работы европейских ученых, американские интерпретации в целом были более субъективны и описательны и менее систематичны, чем у европейских коллег.

Недостаток институциональных структур и научной практики виден в трудах Джорджа Кеннана, путешественника, ставшего журналистом. Карьера Кеннана началась далеко от университета: он устроился на работу в качестве телеграфиста в маленьком городке Огайо. В поисках экзотических впечатлений он стал участником сибирской экспедиции, которой было поручено составить карту предполагаемой телеграфной линии. Этот начатый в 1865 году проект

³¹ Книга [Gay 2002] представляет собой серьезную попытку описать уникальную викторианскую культуру по ту сторону (северной части) Атлантического бассейна, но и этот автор сталкивается с национальными различиями; см., например, [Gay 2002: XXV note 4, 21].

³² См. [Paddock 1994, ch. 7]. См. также [Зашихин 1995: 15–18; Desmarais 1969: 264–266].

должен был соединить Западную Европу и Соединенные Штаты, пересекая всю Россию и через Берингов пролив, а затем через Аляску и Канаду достигая Нью-Йорка. Но проект утратил свою актуальность с появлением в 1866 году первого трансатлантического кабеля, который обеспечил гораздо более короткий маршрут³³. Кеннан решил как-то оправдать эту в других отношениях бесплодную поездку и написать о ней репортаж. Получившаяся в результате «Кочевая жизнь в Сибири» (1870) отражала понимание Кеннаном индивидуального характера, а также его склонность мыслить этнографическими стереотипами в отношении экзотических с виду групп. Он использовал концепцию характера, столь важную для викторианского мировоззрения, которая ставила во главу угла интеллект, рациональность, образование, храбрость, мужество и, прежде всего, самообладание отдельного человека. Кеннан оценивал коренных жителей Сибири не только по их бытовым условиям и социальной организации, но главным образом по индивидуальному характеру. Относительно южных камчатцев, например, он писал, что «проще всего сказать, кем они не являются: они не воинственны и не независимы... они не скупы и не нечестны» [Кеннан 2019: 32]. В отличие от них, изолированные коряки получили у Кеннана гораздо более высокую оценку: благодаря тому, что они «умеренны, целомудренны и мужественны», коряки «лучше – морально, физически и интеллектуально» [Кеннан 2019: 101]. Даже отнюдь не будучи цивилизованными, представители экзотических и отсталых групп могут, по оценке Кеннана, проявлять наилучшие черты индивидуального поведения.

Кеннан определял национальный характер, развивая свою оценку индивидуального характера. Как заметила одна его знакомая, «характер – это суровое испытание, которым он подвергает себя и других людей, и только с этой точки зрения он находит общий язык с окружающими» [Dawes 1888: 631; Susman 1984]. Таким образом, некоторые члены национальной или этнической группы могут быть людьми с характером, в то время как другие – нет. Кеннан порвал с европейской традицией, которая выводила индивидуальные черты из принадлежности к группе: русский ленив в силу того, что он русский. Вместо этого Кеннан определял нацию по тому, насколько сильным характером обладают ее граждане. Эта инверсия повлияла на формирование не только его этнографии коренных сибиряков, но и его взглядов на русских и американцев. Он стремился общаться только с мужчинами и женщинами с характером, независимо от их национальности.

В 1868 году, вскоре после возвращения из Сибири, с целью улучшить свое положение Кеннан начал серию лекционных турне. В 1870 году он вернулся в Россию в поисках приключений, а также дополнительных материалов для лекций. Он нашел то и другое в большом количестве в горах Кавказа, которые только недавно были включены в состав Российской империи. Его труды о жителях гор имели отчетливый антропологический уклон, поскольку он довольно подробно описал «интересные расовые типы» этого региона. Он продолжал проводить различие между индивидуальным характером и коллективными уровнями цивилизации. Таким образом, жители гор Восточного Кавказа, которые были «гостеприимными, храбрыми [и] щедрыми» и обладали «врожденной жилкой поэтического чувства», тем не менее оказались «полуварварами». По мере того, как Кеннан путешествовал все дальше вглубь Российской империи, он продолжал существенно разделять в своих трудах личные черты и уровень цивилизации [Kannan 1874: 171, 176, 187].

В 1870-х годах его аудитория на родине также расширилась, поскольку лекции он стал проводить все дальше и дальше от места своего рождения в Огайо. Он начал писать для национальных журналов. Кеннан пытался закрепиться в качестве ведущего американского эксперта по России не только благодаря собственным усилиям, но и стараясь помешать своим потенциальным конкурентам. Так, например, расстроенный тем, что он не смог опубликовать свои переводы, Кеннан безжалостно критиковал один из переводов Юджина Скайлера. Рецензируя

³³ Этот материал основан на полной и достоверной биографии [Travis 1990: 17–18].

выполненный Скайлером перевод романа Л. Н. Толстого, Кеннан обвинил переводчика в распространении «совершенно варварской» прозы, которая «хуже, чем бесполезна». Резкие слова Кеннана имели скрытый мотив, в чем он признался своему отцу: «Раз уж я не могу опубликовать ни один из своих переводов, по крайней мере я могу помешать тем, кто это делает»³⁴.

Жертва корыстных нападков Кеннана, Юджин Скайлер, пришел к изучению России совсем другим путем. Потомок одной из первых голландских семей Нью-Йорка, Скайлер провел детство в весьма привилегированных условиях, а в возрасте 15 лет он поступил в Йельский университет. Несмотря на то что Скайлер был еще очень молод и не пользовался популярностью (или, возможно, благодаря этому), он преуспевал в учебе. После окончания университета он остался в Нью-Хейвене, получив в 1861 году степень в области философии и психологии, скорее всего специализируясь на современной филологии³⁵. Он был одним из самых первых докторов философии, получивших ученую степень на американской земле. Впервые Скайлер заинтересовался Россией во время Гражданской войны, когда он посетил стоявший в Нью-Йорке российский военный корабль. Ведомый этим интересом, он воспользовался своими семейными связями и получил консульскую должность в Москве, куда переехал в 1867 году. Скайлер быстро связался с Императорским русским географическим обществом и был зачислен в него в качестве почетного члена [Schuyler Schaeffer 1901: 17; Schuyler 1901: 207–209].

Вскоре Скайлер начал публиковать статьи о России и русских в журналах общего профиля. Одна из его первых статей, посвященная русскому крестьянству, представляла собой воспроизведение полного перечня стереотипов о русском характере. Подобно барону Августу фон Гакстгаузену, Скайлер подчеркивал разительные различия между русскими крестьянами и западноевропейцами. У Скайлера, как и у Гакстгаузена, прослеживается славянофильская идея о духовности сельской России, хотя они по-разному объясняли отличия России от Запада. В то время как славянофилы восхваляли стабильность, духовность и коллективизм русских крестьян, Скайлер и другие видели те же черты, но высмеивали сельских русских как консервативных, склонных к фатализму и зависимых. Он подчеркивал их «консерватизм и приверженность традициям», их настроения (которые варьировались от мрачного до подавленного), а также их неорганизованность и несамостоятельность. Русский крестьянин – это «исключительная смесь лени... [и] беспечности». Крестьянам не хватало большинства способностей, необходимых для достижения успеха: у них «нет никакого представления о ценности времени», и они «исключительно недалёковидны». Что касается их интеллектуальных способностей, то у Скайлера были удручающе низкие ожидания. Он признал, что крестьянин «отнюдь не так глуп, как его часто называют». Скайлер делал ударение на «он»; он считал, что крестьянки все без исключения «очень глупы». В целом, заключил он, русские крестьяне проявляют признаки «примитивных» людей в своей безнравственности, «безынициативности» и рабочих привычках. Единственной надеждой России на процветание было каким-то образом привить своим крестьянам уверенность в своих силах, хотя это было бы трудной задачей³⁶. Как и авторы более ранних европейских трудов, Скайлер подчеркивал врожденные черты и напрямую связывал их с экономическими неудачами России.

Черты, которые Скайлер приписывал русским крестьянам, также (по его оценке) подходили жителям среднеазиатских областей Российской империи. Скайлер путешествовал по российской Средней Азии в 1873 году, скорее всего по приглашению члена Императорского русского географического общества [Schuyler 1877, 1: III, VI; Brown 1971: 165]. Его описания Средней Азии показывают, в какой степени он проникся цивилизаторской миссией Географи-

³⁴ Рецензия появилась в «The New York Tribune» от 27 июля 1878 года и 2 августа 1878 года, а также в «The Nation», № 29 от 29 июля 1878 года, с. 134–135. Письмо Кеннана отцу цитируется в [Fowler 1972: 123].

³⁵ См. [Hubbard 1890: 190; Rosenberg 1962].

³⁶ Все цитаты взяты из [Schuyler 1869b].

ческого общества. Скайлер настаивал на том, что «интересы цивилизации требуют порядка» в Средней Азии; порядок, в свою очередь, требовал российского имперского правления. Хотя он не воздерживался от критики российской административной практики в регионе, – более того, он даже спровоцировал небольшой международный инцидент, после того как его конфиденциальная критика появилась в печати, – у Скайлера не вызывали возражений общие цели русских. Сильное российское присутствие в Средней Азии, как сообщил Скайлер министру иностранных дел, было «выгодно... не только жителям [региона], но и всему миру». Напротив, уменьшение присутствия вскоре приведет к тому, что жители Средней Азии будут жить в «анархии» или «деспотизме»³⁷.

Положительная оценка Скайлером деятельности России в Средней Азии основывалась на его низком мнении о жителях этого региона. Киргизы, например, демонстрировали «простоту жизни», которая делала их «гораздо большими детьми природы, чем большинство других азиатов... [со] всеми недостатками и достоинствами детей». Но даже это было пересмотром первых впечатлений Скайлера (после поездки в 1869 году): «Киргизы обладают всеми пороками и лишь немногими достоинствами дикарей». Скайлер больше фокусировался на пороках, чем на достоинствах, подчеркивая гедонизм, нечестность, грязь и развращенность киргизов и их соседей. По его мнению, эти недостатки оправдывали российское правление в регионе. До тех пор, пока жители Средней Азии более ценят силу, чем разум, утверждал Скайлер, российские военные кампании должны продолжаться – на благо Средней Азии и остального мира³⁸.

Кроме того, Скайлер выразил свое одобрение российской имперской миссии, задним числом похвалив европеизирующие действия царя Петра Великого. Подобно философам, писавшим вскоре после смерти Петра в 1725 году, писатели XIX века все еще ссылались на петровские реформы, чтобы определить место России в ряду цивилизованных наций. Санкт-Петербург, к тому времени шумная имперская столица, а не просто амбициозное поселение, построенное на болотах, отражал то, чему Россия научилась у Западной Европы, а также долгожданный статус России как европейской державы. В России XIX века Петр стал символом ее вхождения в Европу, поводом для очернения славянофилов и безграничного восхваления западников. Среди наиболее преданных биографов Петра XIX века был друг Скайлера Александр Брюкнер, который планировал отметить двухсотлетие со дня рождения императора (в 1872 году) новым крупным историческим трудом, посвященным роли Петра в европеизации России. Скорее всего, именно Брюкнер убедил Скайлера написать биографию Петра³⁹.

Работа Скайлера о Петре Великом впервые появилась в популярном журнале «Scribner's Monthly» и вскоре после этого вышла в виде книги⁴⁰. Большинство статей были посвящены самому Петру: его личности, образованию, путешествиям (особенно в Европу) и семье. Эти заметки были объединены одной общей линией интерпретации: в них придавалось особое значение успеху Петра, который единолично вывел Россию из Азии в Европу. Как и Брюкнер, Скайлер подчеркивал «восточные» качества допетровской России, видя их во всем: от налогового законодательства и дипломатической практики до владения недвижимостью и отношений между полами. Даже внешняя политика отражала азиатские тенденции России. До Петра Россия была «по сути восточной державой; ее послы понимали чувства и обычаи жителей Востока», что помогало им установить нормальные отношения с турками. Скайлер противопо-

³⁷ Скайлер в Государственной департамент, 17 февраля 1873 года, в SDR, «Депеши послов США в России, 1808–1906 годы». № 61. Его самые острые критические замечания появились в туркестанской депеше Скайлера, опубликованной в: Маршалл Джуэлл Хамильтону Фишу, 10 марта 1874 года. FRUS 1874, 823–824. См. также: Скайлер Хамильтону Фишу, 21 декабря 1872 года. FRUS 1873, 766. См. также [Schuyler 1877, 2: 388].

³⁸ См. [Schuyler 1877, 1: 38, 147–148, 172, 271; 2: 118; Schuyler 1869a: 327]; Скайлер Хамильтону Фишу, 21 декабря 1872 года. FRUS 1873, 766.

³⁹ См. [Brown 1971: 38; Riasanovsky 1985: 192–195; Saul 1996: 122].

⁴⁰ Первый выпуск появился в «Scribner's Monthly» от 19 января 1880 года (с. 545–564); последующие части выходили примерно раз в месяц в течение еще двух лет.

ставлял русских небольшой чужеродной колонии в Москве, которая отличалась «более высокой культурой». Как и следовало ожидать, Скайлер придавал большое значение путешествию Петра по Западной Европе в 1697 году: оно ознаменовало собой «разделение между старой Россией... и новой»⁴¹. В трудах Скайлера Петр стремился превратить азиатскую страну в современную европейскую.

Биография Петра, написанная Скайлером, – первый предпринятый американцем серьезный исторический анализ России, – заслужила уважение большинства рецензентов. Посмертно опубликованный сборник его эссе получил высокую оценку историка и президента Мичиганского университета Джеймса Б. Энджелла. В печатном издании лишь недавно вышедшей на профессиональный уровень исторической дисциплины «*American Historical Review*» Энджелл написал, что работы Скайлера «заслуженно дали ему право на место в этом журнале»⁴².

Хоть Скайлер и претендовал на первенство и компетентность в своей области, но вряд ли на оригинальность. Его доводы мало отличались от аргументов крупнейших изучающих Россию историков той эпохи, особенно Брюкнера. Центральная мысль написанной Скайлером биографии – что европеизация является многовековым процессом поднятия отсталых культур до европейских стандартов – пришла в основном из второстепенных работ, на которые он опирался. Как и Брюкнер, Скайлер прослеживал четкую связь между европеизирующей миссией Петра в XVII веке и более поздней цивилизаторской миссией царей в Средней Азии.

Использование Скайлером базового нарратива о цивилизации, отраженного в его работах как о петровской России, так и о более поздней имперской эпохе, имело также и классовую направленность. То, как резко он изображал русских крестьян, наводило на мысль, что они тоже оставались нецивилизованными. Видя цивилизаторскую и европеизирующую миссию в происходящем в России XVIII века и в Средней Азии XIX века, Скайлер тем не менее обнаруживал мало возможностей для русских крестьян преодолеть свое варварское состояние. Он проследил все три явления – европеизацию элит Петром, экспансию Российской империи и плачевное состояние крестьянства – вплоть до XVIII века и «преждевременных» усилий Петра по вхождению России в Европу. Опередив события, Петр заставил русских царей сосредоточиться на внешней экспансии, а не на внутреннем развитии [Schuyler 1884, 2: 644].

Скайлер и Кеннан придерживались схожих взглядов на Россию, несмотря на личную и мелочную неприязнь последнего к первому. Как и Кеннан, Скайлер подчеркивает расслоение внутри российского общества. Кроме того, оба автора приписывали национальный характер различным социальным группам в России. В довершение всего, они оба признавали нехватку в Соединенных Штатах экспертов по России⁴³. Но различия между ними также были существенными. В то время как Скайлер объяснял недостатки русских чертами национального характера, Кеннан видел в них индивидуальные, личные недостатки. И если Кеннан описывал жителей Средней Азии как обладателей воинственного духа и хваленого индивидуального характера, то Скайлер видел в них только примитивные племена.

Акцент Кеннана на индивидуальном, а не на национальном характере также прослеживается в его работах о системе сибирской ссылки. В его первой книге «Кочевая жизнь в Сибири» система ссылки даже не упоминалась [Travis 1990: 25–26]. Хотя позже Кеннан стал известен своей критикой ссылки, в 1880-х годах он энергично защищал систему наказаний в России. Большую часть выступлений 1882 года он посвятил своим похождениям на русском Востоке; работе исправительных колоний уделялось меньше внимания. Если он и описывал систему ссылки, то в первую очередь для того, чтобы приуменьшить число ее жертв. Заключенных

⁴¹ См. [Schuyler 1884, 1: 26, 175, 186, 264, 329–330, 336; Schuyler 1877, 1: 153].

⁴² См.: J. B. A. (James B. Angell). Book review // *AHR*. 1901 (July). Vol. 6. P. 839. Однако анонимный рецензент выразил желание, чтобы Скайлер вышел за рамки «журналистской» работы. См.: *Sewanee Review*. 1901. Vol. 9. P. 372–374.

⁴³ См. обмен мнениями в «*New York Tribune*» – 27 июля 1878 года и 2 августа 1878 года.

в Сибири Кеннан скорее презирал, чем сочувствовал им; он описал преступников как «вульгарных», а политических заключенных как «наивных нигилистов». Иными словами, тем, кого отправили в Сибирь, не хватало самых важных черт характера – как всегда, ключевого показателя личной ценности для Кеннана. Те иностранные реформаторы, которые критиковали сибирскую ссылку, заключил Кеннан, преувеличивали ее жестокость и переоценивали личные качества ссыльных [Kennan 1882; Travis 1990: 39–40]. И все же Кеннан надеялся вернуться в Россию, чтобы окончательно выяснить условия содержания ссыльных в Сибири. В разговоре с редактором газеты он обосновал это необходимостью для науки. Учитывая все истории о ссылке в Сибирь – как «романтические», так и «трагические», – американцам требовались «реальные конкретные знания» о том, как там обстоят дела. Ключевой вопрос для Кеннана касался совместного пребывания политических заключенных и обычных преступников, что вскоре определило его взгляд на всю систему ссылки⁴⁴.

Хотя редактор газеты отклонил предложение Кеннана, журнал «Century» согласился спонсировать возвращение Кеннана в Россию. В 1884 году Кеннан посетил Москву и Санкт-Петербург, чтобы подготовиться к более длительному путешествию по Сибири в следующем году. В 1887 году начали появляться его статьи, которые выходили ежемесячно в течение двух лет. Позже, в 1891 году, они вышли в виде книги «Сибирь и ссылка». Сибирская серия объединила рассказы об изменении личных взглядов и о научных открытиях. Кеннан признался в предубеждениях, которым он был подвержен в ходе своих путешествий: «...я был настроен в пользу русского правительства». Он начал с глубокой критики политических заключенных, которых он считал «неблагодарными и упрямыми фанатиками того анархического типа, с которым нам за последнее время в Соединенных Штатах пришлось свести неприятное знакомство» [Кеннан 1906: IV]. Но в ходе непосредственного изучения системы ссылки эти предположения были опровергнуты: «...на основании поразительных фактов мои взгляды изменились» [Кеннан 1906: 2].

Наблюдая, Кеннан убедился прежде всего в том, что революционеры, которых он ранее презирал, на самом деле были мужчинами и женщинами с характером. Это были не «более или менее загадочные существа», которых он ожидал увидеть, а яркие, умные, знающие мужчины и женщины, с проявлением теплых чувств, способностью к пониманию, щедрыми порывами и высокими стандартами чести и долга – все составляющие сильного характера, столь важного для мировоззрения Кеннана. Так называемые нигилисты на самом деле были хорошо образованы, знакомы с произведениями Шекспира, Милля и Спенсера и были в курсе современных американских дел. Некоторые политические изгнанники даже «по своей наружности могли сойти за профессоров» [Кеннан 1906: 74]. Он с гордостью рассказал о встрече с политическими заключенными в Томске в сопровождении сотрудника Министерства внутренних дел. Это должностное лицо выступало не в качестве сопровождающего, а как полноправный участник встречи, которая проходила на общей основе личного характера. Как он писал из Томска своему редактору «Century», сразу видно, что политические заключенные образованные, разумные, сдержанные джентльмены, ни в чем существенно не отличающиеся от других людей⁴⁵. Политические убеждения значили для Кеннана меньше, чем характер.

Внезапно обретя энтузиазм в отношении политических заключенных в Сибири, Кеннан стал критиковать систему ссылки, особенно то, как там обращались с различными типами заключенных. В предыдущих работах он объединял революционеров с преступниками как в равной степени недостойных. Однако после поездки в Сибирь в 1880-х годах он приложил немало усилий, чтобы установить различия между ссыльными. Подобно активным политическим реформаторам своей эпохи, Кеннан настаивал на научной классификации преступников.

⁴⁴ Джордж Кеннан Чарльзу А. Дану. Дата не указана (1881?). George Kennan Papers (NYPL), box 1.

⁴⁵ Кеннан Розуэллу Смит, 26 августа 1885 года. Цит. по: [Kennan 1891, 1: 350–351].

С этой классификацией пришли специализация и иерархия. Точно так же, как американские реформаторы критиковали свою систему наказаний за одинаковое отношение ко всем преступникам, Кеннан выступал против системы сибирской ссылки за то, что она заставляла добропорядочных мужчин и женщин общаться с обычными преступниками. Это смешение было не просто проблемой для политических деятелей; оно нарушало общественный порядок. Биограф Кеннана, Фредерик Трэвис, ярко подчеркивает этот момент: Кеннан «никогда не выражал сочувствия к тяжелому положению “обычных” уголовных ссыльных; по сути дела часть его симпатии к политическим заключенным проистекала из того факта, что им приходилось терпеть контакты с обычными преступниками» [Travis 1990: 126]⁴⁶. Его взгляды на систему ссылки, таким образом, были изначально сформированы социальными иерархиями, которые он понимал как проявления индивидуального характера. Его концепция культурных различий в более широком смысле аналогичным образом определялась личным характером. По сравнению с другими работами экспертов (даже его современников), сделанные Кеннаном описания России были глубоко проникнуты викторианскими представлениями: они были укоренены в сильном чувстве социальной иерархии, но все же давали надежду на положительные изменения; больше заботы в них проявлялось по отношению к отдельным людям, чем к народам. Взгляд Кеннана на Россию отличался как от более ранних, так и от более поздних исследований. Предыдущие европейские описания практически не допускали возможности для положительных изменений, в то время как последующие американские описания были сосредоточены в основном на национальном, а не индивидуальном характере. Таким образом, идеи Кеннана представляют собой переходный момент в формировании особого американского взгляда на Россию и русских.

Не все американские представления о России были столь же отчетливо американскими, как у Кеннана. Все-таки Скайлер вторил трудам своих наставников, и Уильям Дадли Фоулк, автор другой известной книги о России, писал в подозрительно похожем на труды французского историка Леруа-Больё ключе. По сравнению со своим другом Кеннаном Фоулк более полно включил в свои взгляды на текущие обстоятельства и будущие перспективы России понятие сути русской природы. Начав свою карьеру в качестве реформатора (в частности, работая над реформой государственной службы и избирательным правом женщин), Фоулк довольно таинственным образом обратился к изучению России. «Я очень заинтересовался, – скромно вспоминал он, – историей России, особенно событиями, показывающими посягательства этой империи “на своих соседей”» [Foulke 1925a: 85, 106, 94]. Не зная русского языка, Фоулк в значительной степени полагался на французские книги о России [Foulke 1925b: 99]. Структура его первой и единственной книги о России, «Славянин или саксонец» (1887), вторит книгам Леруа-Больё и Рамбо: она начинается с подробного описания ее земель и климата. Ссылаясь непосредственно на Леруа-Больё, Фоулк написал, что широкие просторы России противостоят «оригинальности и индивидуальности». Погода также сыграла свою роль: «долгие зимы оцепенения и бездействия» чередуются там с короткими летами лихорадочной работы. Это сделало русских склонными к «крайностям либерализма и консерватизма, благоговения и цинизма, надежды и отчаяния, интеллекта и невежества» [Foulke 1887: 13, 14, 85].

Согласно Фоулку, эти черты имели значительные политические последствия. Отсутствие индивидуальности у русских привело к централизованному управлению, что сделало людей «гораздо более легко подчиняемыми контролю единой воли». И отсутствие оригинальности или самобытности сработало точно так же: «люди стали единым целым, как земля, их занятия одинаковы, их мысли, их устремления». Даже приостановку реформ в России в середине века можно было объяснить чертами характера. Склонность русских к крайностям диктовала как «смелость их проектов реформ[, так и] их робость в исполнении». В целом националь-

⁴⁶ См. также [Willrich 2003, ch. 3].

ный характер сформировал политическую структуру: «...особая приспособленность к этой форме правления, по-видимому... укоренилась в русском народе». Пессимизм Фоулка смягчался утверждением, что этот покорный русский характер, так хорошо подходящий для деспотизма, не являлся естественным для русских, а был им навязан. Национальный характер в этой формулировке оказывается укоренившимся, но не врожденным [Foulke 1887: 13, 33, 14, 36].

Склонность России к деспотизму, утверждал Фоулк, пришла с Востока. Подобно французским историкам, чьи работы он изучал, он определил многие русские черты как азиатские по происхождению⁴⁷. Азиатские элементы вошли в русский характер и русскую жизнь, когда славяне находились под так называемым татарским игмом – когда ими правили монгольские ханы, с XIII по XVI век. Эти элементы «затормозили» развитие России и задержали ее «цивилизацию» [Foulke 1887: 72, 22]. Категория Азии часто использовалась в трудах Фоулка. В дневнике о России он жаловался на свое замешательство по поводу «непостижимых мыслей, мотивов и порядков огромного населения Востока». На протяжении всей этой книги он помещал Россию в Азии. Все, от архитектурного облика Москвы до одежды петербургских водителей, было «восточным». Азиатские элементы как предшествовали Петру, так и пережили его. Фоулк, как и Скайлер, рассматривал планы Петра по модернизации как насильственную попытку «втянуть [Россию]... в течение европейской жизни». Неудача царя означала, что Азия представляла собой не только прошлое России, но и часть ее настоящего [Foulke 1925b: 9, 99, 108; Foulke 1887: 62, 82–83].

Русский характер и азиатское наследие, возмущался Фоулк, создали варварское государство, которое теперь угрожало доброму британскому правлению в Азии. Таким образом, борьба между славянами и саксами, которую Фоулк вынес в название своей книги, была битвой между «последним великим деспотизмом на земле» и цивилизованными державами. Здесь Фоулк быстро перешел на жаркий язык политических дебатов, назвав экспансионизм России «ростом всего, что мы ненавидим». Русские идеи, лихорадочно продолжал он, являются «настолько нездешними, настолько полуварварскими во всех отношениях... что мы не видим, как их можно загнать в глотку гуманности» [Foulke 1887: 37, 134, 144, 61, 2–3]⁴⁸. Внутренний деспотизм России и международные устремления угрожали не только Соединенным Штатам, но и самой цивилизации.

Историк Брукс Адамс, писавший 15 лет спустя после Фоулка, согласился с этим аргументом. Адамс считал причиной экспансии России ее «азиатское наследие». Но, свободный от паникерства Фоулка, историк увидел в этом наследии одно светлое пятно: хотя оно объясняло тенденцию России к территориальному расширению, оно также обрекало те же самые усилия на провал. Он привел недостатки русского характера, чтобы объяснить бесперспективность этой политики. Хотя он признал, что русские обладают «терпением и упорством в жизни», они остаются «невежественными и неискушенными, ленивыми и расточительными». Подобно Фоулку и французским историкам той эпохи, Адамс приписывал русский характер, который он высмеивал как «ущербный», ландшафту и климату России⁴⁹. Адамс и Фоулк объясняли нежелательную экспансию России в конце XIX века результатом русского национального характера, а также азиатских тенденций в методах правления. По мнению Адамса, такой национальный характер определил настоящее и будущее России.

По сравнению с Адамсом Фоулк видел русский характер более изменчивым и, следовательно, более опасным. По его мнению, это повлияло не только на внутренний деспотизм и внешнюю экспансию России, но и на экономические условия в стране. Противопоставляя

⁴⁷ Ссылки на французских историков см. в [Foulke 1887: III, 28, 29].

⁴⁸ См. также письмо Фоулка Кеннану от 1887 года, цитата из которого приводится в [Violette 1986: 80]. Я признателен Дэвиду Фоглсону за то, что он обратил мое внимание на эту статью.

⁴⁹ См. [Adams 1947: 177–179; Adams 1902: 181–182]. Адамс подробно описывает азиатское происхождение Российского государства в письмах своему брату Генри, цитата приводится в [Anderson 1951: 73–74].

славян и саксов, Фоулк подчеркивал не только политическую действительность – деспотизм против демократии, – но и экономические показатели [Foulke 1887: 58–59]. В заключительной главе своей книги Фоулк сопоставил «большие <...> успехи человеческого развития в тех сообществах, которые [поощряют] добровольное сотрудничество и свободную промышленную деятельность», и замедление в странах, где преобладают «суровые методы военного подчинения». Другими словами, форма правления определяла экономические перспективы страны. Утверждая, что деспотизм прочно укоренился на территории России (пусть даже изначально был завезен с Востока) и усилен чертами русского национального характера, Фоулк подразумевал, что национальный характер ограничивал экономическое развитие. Таким образом, национальный характер обеспечивал процветание самодержавия и диктовал в России экономические условия.

Но Фоулк был слишком глубоко проникнут викторианским чувством всеобщего прогресса и потому не утверждал этого так однозначно. Он предложил план будущего России, который содержал как политические, так и экономические компоненты: «Надежда на грядущие времена заключается в свержении централизованного деспотизма, в установлении гражданской свободы в России и в замене нынешней военной системы промышленными методами» [Foulke 1887: 144]. Россия может превратиться в государство с цивилизованными экономической и политической системами. И все же здесь оптимизм Фоулка в отношении будущего России противоречил его первоначальным объяснениям российского деспотизма и отсталости. Если деспотизм был результатом русского национального характера, а национальный характер, в свою очередь, был результатом ландшафта и климата, то при каких обстоятельствах (кроме континентального сдвига или глобального потепления) может возникнуть новая форма правления? И если этот деспотизм препятствовал экономическому прогрессу России, то каковы были шансы на материальный прогресс? Материальный прогресс, писал он, потребовал бы изменения русского национального характера. Он верил, что национальный характер может быть сформирован внешними силами; учитывая, что при ханах он стал близок к деспотизму, в принципе его можно было бы в любом случае сделать близким к демократии.

Книга «Славянин или саксонец» вызвала положительную, хотя и сдержанную, реакцию среди американских наблюдателей за Россией. Джордж Кеннан с восторгом писал Фоулку об этой книге, как и русский революционер-эмигрант С. М. Кравчинский (пишущий под псевдонимом Степняк). Оба высоко оценили изложение Фоулком истории России, а Кравчинский особо выделил его главу о «русских климатических, географических и природных условиях в связи с национальным характером». Анонимный рецензент в журнале «North American Review» согласился с критикой Фоулка в адрес российской политики, ставя под сомнение только его оптимизм: смогут ли русские действительно стать свободными?⁵⁰ Книга Фоулка и реакция на нее свидетельствуют о путанице в американских представлениях о России. Русский характер определял экономическую и политическую жизнь страны. И хотя этот характер возник по географическим и метеорологическим причинам, он не был неизменным.

Если Фоулк (как и Леруа-Больё) опирался на национальный характер, чтобы критиковать Россию, другие американцы использовали характер, чтобы поощрять более тесные связи между двумя странами; при этом они повторили доводы Рамбо. Переводчица Изабель Хэпгуд, одна из самых плодовитых русофилов викторианской Америки, ссылаясь на русский характер, чтобы доказать свою правоту. В 1880-х и 1890-х годах Хэпгуд энергично поддерживала русских писателей и правительство России в многочисленных статьях, на лекциях в Шатокуа, а также в постоянном потоке переводов и переписки⁵¹. Ее неустанные усилия по распростра-

⁵⁰ Джордж Кеннан Фоулку, 4 февраля 1888 года, и Степняк Фоулку, 9 марта 1888 года. Оба письма в: William Dudley Foulke Papers, box 3. Анонимная рецензия: North American Review. 1888. February. Vol. 146. P. 233–234.

⁵¹ Подробнее о Шатокуа см.: Makers of Recent Russian Literature // The Chautauquan. 1902. July. Vol. 3. P. 327.

нению русской литературы среди американцев увенчались успехом в конце 1880-х годов, когда ее поддержка Льва Толстого привела к всплеску интереса к нему среди американцев. Однако эта гармония была недолгой; вскоре она порвала с Толстым из-за художественных разногласий [Hargood 1890: 313; Saul 1996: 326–327].

Разногласия Хэпгуд с Толстым не положили конец ее энтузиазму в отношении русской культуры. Она по-прежнему продвигала американской аудитории то, что считала типичным выражением русской культуры – литературу (даже Толстого), эпические песни (былины) и музыку. Хэпгуд использовала каждый из этих жанров, чтобы проиллюстрировать характерные российские традиции. Высоко оценивая Толстого, например, она подчеркивала его отличия от западников, таких как И. С. Тургенев [Hargood 1902: 250]. Твердо веря в уникальность художественного вклада России, основанную на ее отличиях от американской и европейской культур, Хэпгуд перечислила многие черты, которые можно найти у всех русских. Даже дистанцируясь от упрощений «“сложного” национального характера русских», она пришла к выводу, что они обладают «естественным простым, отзывчивым характером <...> с оттенком дружеской теплоты, влияние которого ощущается, как только человек пересекает границу». Даже после того, как Хэпгуд заявила, что проявляет осторожность в отношении подобных обобщений, она предложила свое: русские «как нация слишком долготерпимы и покладисты в определенных направлениях <...> допускают слишком большую личную независимость в определенных вещах». Ее книга «Русские странствия» усеяна подобными оценками русского характера, составленными из набора знакомых черт характера: русские обладают «врожденной... вежливостью», славятся своим терпением и «обладают естественным достоинством, которое мешает им заявлять о себе неприятным образом, за исключением редких случаев» [Hargood 1894: XI, 64, 89, 159]. Предложенный Хэпгуд список черт, которым она придавала положительный оттенок, был поразительно похож на тот, что использовали самые жестокие критики России. То, что критики называли пассивностью, она называла достоинством. У русских крестьян, предположила она, эти аспекты русского характера преувеличивались.

Предположительно повторяя патерналистские концепции своих благородных русских собеседников, Хэпгуд подчеркивала сомнительное и неудержимо гедонистическое поведение крестьян. Задним числом одобряя крепостное право, она заметила, что в 1890-х годах – через три десятилетия после его отмены – крестьяне «сохранили в своих сердцах слабость к удобствам и безответственности старых добрых дней крепостного права» [Hargood 1894: 108–109]. Таким образом, ее доводы перекликаются с аргументами апологетов американского рабства. Белые писатели из северных и южных штатов официально провозгласили рабство идеальной социальной организацией для чернокожих. Рабы развили (по словам одного журналиста) «общие семейные интересы и добрые личные чувства» по отношению к своим владельцам и хозяевам, без которых они стали «ленивыми» и «расточительными» [Smith 1985: 52]. Хэпгуд применила этот снисходительный взгляд на русских сельских жителей к главной связанной с Россией теме в американских новостях в 1890-х годах, голоду 1891–1892 годов.

Когда в начале 1890-х годов американское увлечение Толстым пошло на убыль, причиной появления России в американских журналах и газетах стали новые события. Сообщения о неурожаях и повсеместном голоде в России привлекли значительное внимание американской прессы. Сельскохозяйственные условия России всегда были крайне уязвимы к плохой погоде; один историк экономики подсчитал, что голод случался каждые шесть-семь лет на протяжении всей зарегистрированной истории России [Kahan 1968: 353–377]. Ученые проследили, что эта нестабильность связана с различными обстоятельствами и политикой. Технологические и организационные инновации, улучшившие западноевропейское сельское хозяйство, редко проникали в Россию. Важную роль сыграла и государственная политика. По мере того как трио успешных министров финансов – Н. Х. Бунге (1883–1887), И. А. Вышнеградский (1887–1892) и С. Ю. Витте (1892–1903) – проводили стимулируемую государством индустриализа-

цию, они все больше полагались на доходы от крупнейшего сектора российской экономики – сельского хозяйства. Экспорт был особенно важен, поскольку эти министры финансов стремились накопить достаточные резервы, чтобы перейти на золотой стандарт. Зерно было наиболее доступным экспортным товаром [Китанина 1978]. Российские экономисты и чиновники от экономики той эпохи четко осознавали эти плюсы и минусы. Столкнувшись с новостями о том, что потенциальный дефицит урожая может привести к сокращению золотых запасов, Вышнеградский кратко, хотя и жестко, резюмировал свою политику: «Сами не будем есть, но будем вывозить!» [Шванебах 1901: 21]⁵².

Стремление правительства к экспорту в сочетании с низкой в целом производительностью сельского хозяйства способствовало уязвимости большей части России перед продовольственными кризисами. Непредвиденные обстоятельства – плохая погода и внезапная эпидемия холеры – сделали кризис 1891–1892 годов еще более тяжелым. Особенно серьезные проблемы возникли в центральном производственном регионе в Поволжье, где проживало около тридцати миллионов русских. Урожай 1891 года был примерно вдвое ниже обычного, при этом в некоторых регионах наблюдалось снижение до 75 % [Wheatcroft 1992]. Несмотря на столь впечатляющие цифры, царское правительство не спешило принимать меры по оказанию помощи.

Только в ноябре 1891 года, через несколько месяцев после первых тревожных наблюдений, правительство учредило Особый комитет по оказанию помощи населению губерний, пострадавших от неурожая. Во главе с наследником цесаревичем Николаем (будущим царем Николаем II) этот комитет ежемесячно предоставлял продовольственные ссуды 11 миллионам крестьян. Он также координировал мероприятия по оказанию чрезвычайной помощи и принятию санитарных мер в сельской местности, направленные как на обеспечение населения продовольствием, так и на замедление распространения холеры. Тем не менее в том году от голода и холеры умерло до 400 000 россиян [Wheatcroft 1992: 60–61; Robbins 1975, chap. 7].

Хотя Особый комитет не обращался за иностранной помощью, вскоре он получил множество предложений о помощи от американских групп. Благотворительные организации в Миннесоте, Висконсине и Пенсильвании возникли еще до комитета в России. К середине зимы эти группы, к которым присоединился Американский Красный Крест, провели кампании по сбору средств. Государственная организация, Комитет помощи голодающим в России, созвала многих американских знаменитостей, включая американского посла в Санкт-Петербурге, пятнадцать сенаторов и двадцать два губернатора⁵³. Таким образом, голод способствовал появлению нового типа комментатора в американских дискуссиях о России: чиновника по оказанию помощи. Многие из этих чиновников переняли основанный на характере анализ русской жизни, который использовали другие эксперты.

В терминологии, которая совпадала с формулировками Гакстгаузена, Дональда Маккензи Уоллеса и других европейских исследователей сельской России, американские дипломаты и чиновники по оказанию помощи часто связывали голод с такими чертами характера русских, как лень и покорность. Эта логика перекликалась с логикой американских реформаторов города. По словам одного историка, эти реформаторы возлагали вину за бедность на «моральные изъяны и недостатки характера бедных» [Boyer 1978: 41]. Два представителя Америки в Санкт-Петербурге, Чарльз Эмори Смит (1890–1892) и Эндрю Диксон Уайт (1892–1894), подразумевали, что причины и последствия голода коренятся в недостатках крестьян. Уайт, первый президент Корнеллского университета (1868) и Американской исторической ассоциации (1884), начал свою выдающуюся карьеру, написав о России. После окончания кол-

⁵² О либеральных экономистах и голоде см. [Simms 1976: 115–130].

⁵³ Один из работников службы помощи оценил поставки в Россию в 100 000 долларов и пять кораблей с мукой. См. отчет Джона Хойта от 25 декабря 1892 года в [Журавлева 1993: 207–208]. См. также [Ноут 1893: III–IV]. По вопросу дискуссий Имперского комитета об иностранной помощи см.: Н. К. Гирс к П. Н. Дурново от 19 декабря 1891 года. РГИА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 548. Л. 1–1об.

леджа в 1853 году он и его друг (Дэниэл Койт Гилман, впоследствии президент-основатель Университета Джонса Хопкинса) работали вместе в американском представительстве в Санкт-Петербурге. Проживая в российской столице в 1850-х годах, Уайт быстро невзлюбил принимающую его страну. В личной переписке он критиковал имперский режим: «Нет правительства, которое было бы настолько варварским <...> разве что его можно найти среди ранних азиатских монархий» [Altschuler 1979: 32; White 1896, 1: 38]. Хотя он, подобно американским реформаторам, был готов обвинять самих бедных в их положении, Россию он рассматривал как особый случай.

Уайт пребывал в России перед Великими реформами, крупными преобразованиями в политической и экономической жизни страны, предпринятыми царем-освободителем Александром II⁵⁴. После поражения в Крымской войне 1855 года в России было проведено тщательное изучение социальных и политических институтов. К концу 1850-х годов особое внимание стали уделять вопросу о крепостном праве. По мере того как российская элита обдумывала реформу этого института, последнего пережитка феодализма в крупной европейской державе, на первый план выходили вопросы будущего России. Отмена крепостного права в 1861 году обещала большие перемены в российском обществе, но эти обещания не были выполнены. Сельские жители избавились от статуса крепостных, но тем не менее страдали от огромных долгов в форме выкупных платежей, призванных возместить помещикам потерю их имущества. Они предлагали все что угодно, кроме выкупа для бывших крепостных, которые столкнулись с серьезными ограничениями экономических возможностей. Кроме того, указы об отмене крепостного права наделили крестьянскую общину контролем над землей и трудом.

Уайт воспользовался освобождением крестьян, чтобы вернуться в Россию если не в буквальном смысле, то по крайней мере интеллектуально. В 1862 году он написал статью для «Atlantic Monthly», в которой описал конец крепостного права и судьбу крестьянства. В своем исследовании Уайт подчеркивал роль великих людей, как и в те времена, когда он жил в Санкт-Петербурге. По его оценке, Петр Великий «превратил Россию из мелкой азиатской орды в великую европейскую державу». Александр II олицетворял «славу России» в ее воплощении XIX века. Но Уайт также говорил о самих крестьянах, описывая, как конец крепостного права повлиял на их будущее. Он охарактеризовал крестьян как упрямых, любопытных, благоговеющих как перед божественными, так и перед земными силами и «от природы добрых». Эти черты, подразумевал Уайт, не исключали демократии, но требовали того, что он называл «патриархальной демократической системой», в которой общественные лидеры заботились бы об интересах крестьян. Уайт надеялся, что патриархальные аспекты этой системы позволят бывшим крепостным превратить свои «хитрость и мошенничество» в поведение, более подходящее к рыночной экономике [White 1862: 539, 552, 548, 551]⁵⁵. Ключ к будущему России лежал в ее крестьянстве и его поведении.

Уайт и другие американские наблюдатели использовали эти характеристики русского крестьянства при анализе голода 1891–1892 годов. Они ссылались на различные крестьянские черты, чтобы объяснить причины и последствия голода. Наблюдатели часто указывали на отсутствие у крестьян самообладания. Предшественник Уайта Чарльз Эмори Смит, например, называл крестьян «бесхозяйственными и расточительными», настаивая на том, что такое поведение привело их к нынешнему тяжелому положению⁵⁶. Отсутствие самоконтроля было наиболее заметно и проявлялось чаще всего, как предполагали американцы, перед бутылкой. Чрезмерное употребление алкоголя стало символом безответственности; как выразился

⁵⁴ См. [Захарова и др. 1992; Зайончковский 1968; Wheatcroft 1991].

⁵⁵ Подобные мысли он высказывает в своей учебной программе «Великие государства континентальной Европы» (1874). Andrew Dickson White Papers, box 198, p. 44.

⁵⁶ Смит госсекретарю Джеймсу Блейну, 28 ноября 1891 года. SDR. Подобные заявления из дипломатической переписки цит. в [Queen 1955: 140, 149].

один британский сотрудник по оказанию помощи, сельская Россия состояла из «короля Водки и его слуг» [Steveni 1892: 28–34]. Один значимый сотрудник из Филадельфии признал, что засуха сыграла определенную роль, но тем не менее настаивал на том, что употребление алкоголя остается «одной из реальных причин нищеты» в российских деревнях [Reeves 1917: 10]. Уильям Эдгар, возглавлявший усилия по оказанию помощи в Миннесоте, пошел дальше, назвав главными причинами экономических проблем России расточительность крестьян и пристрастие к водке [Edgar 1917: 465]. Джордж Кеннан также винил в бедах крестьян пьянство, но указывал и на российское правительство, чья зависимость от прибыли от своей алкогольной монополии, писал он, привела к тому, что оно поощряло употребление алкоголя. Легкий доступ к алкоголю представлял слишком большое искушение для «врожденно невоздержанных» крестьян. Таким образом, крестьянское пьянство, по мнению Кеннана, было еще одной проблемой, созданной коррумпированным и отсталым самодержавием⁵⁷.

В распространении голода Уайт и другие также обвиняли крестьянский фатализм. Эта черта настолько укоренилась, что даже угрожала жизни крестьян, утверждал Уайт. Утверждая, что русские крестьяне «лишь немного, и то под вопросом, прогрессивнее азиатского варварства», он пришел к выводу, что их фатализм привел к безразличному отношению к гигиене, а это, в свою очередь, сделало их восприимчивыми к таким болезням, как холера⁵⁸. Газетный издатель Мурат Халстед, пишущий в «The Cosmopolitan», в основном согласился с этой мыслью. В его статье в качестве основной причины экономических проблем России указывалась плохая трудовая этика. Халстед винил крестьян в их собственных страданиях, но – возможно, потому, что он сомневался в способности крестьян взять на себя ответственность за собственное благополучие, – он видел первопричину в политике правительства. То, что Халстед называл «фатальной покорностью крестьян», культивировалось правительством [Halstead 1892: 82]. Аналогичным образом, торговец, ставший чиновником по оказанию помощи, Фрэнсис Ривз обвинил в проблемах крестьян их обращение к «навязанной извне тьме слепого фатализма». Подобно Халстеду и Кеннану, Ривз не возлагал главную вину за такое поведение на крестьян, а вместо этого обвинил Русскую православную церковь в насаждении подобного стоицизма [Reeves 1917: 99]⁵⁹. Таким образом, Ривз использовал черту, которую ранее высоко оценила Хэпгуд, – русскую духовность – и переформулировал ее в негативном ключе. Но Ривз, как и Халстед, и особенно Кеннан, также использовали эти черты, чтобы подчеркнуть политические взгляды. Особенности крестьян, возможно, и привели к голоду, но главную ответственность за это несли правящие силы – глубоко связанные между собой церковь и государство.

Голод также стал для многих американских наблюдателей подтверждением черты, которую они давно ассоциировали с русскими, – способности выдерживать большие трудности. Воспевая русский характер, Хэпгуд упоминала об этой черте, как и другие, более критично настроенные писатели. Например, Уильям Эдгар писал, как страдания «терпеливого русского крестьянина в его беспримерном несчастье» тронули сердца фермеров и мельников Среднего Запада. Именно это излияние чувств привело к тому, что он сам стал принимать участие в оказании помощи голодающим в России⁶⁰. Кравчинский накануне голода писал, что лучшая надежда крестьян заключается в преодолении «тупого терпения», которое до сих пор их характеризовало [Stepniak 1891: 1]. Британский русофил У. Т. Стед в американском издании своего лондонского «Review of Reviews» предложил аналогичное объяснение с несколько преувеличенными формулировками; крестьяне оказались «наиболее многострадальными, привыкшими к трудностям и привыкшими к лишениям, флегматичности и пассивности» [Stead

⁵⁷ The Famine in Russia // NYT. 1892. 3 January.

⁵⁸ Уайт госсекретарю, 21 июля 1894 года. Цит. в [Altschuler 1979: 198–199]. См. также [White 1896, 2: 30, 54].

⁵⁹ Этот аргумент согласуется с [Queen 1955].

⁶⁰ Northwestern Miller. 1891. 18 December. Цитата приводится в [Edgar 1893: 7].

1892: 670]. Американская соратница Стэда по продвижению позитивного образа России Изабель Хэпгуд также превозносила сердечность русских крестьян [Hargood 1892a: 234]. Но максимально использовал эту черту дипломат Чарльз Эмори Смит, предположивший, что уникальный талант русских страдать поможет им вернуться к нормальной жизни:

Измученные и истощенные долгой борьбой, лишенные своего сырья, крестьяне сталкиваются с требованиями нового сельскохозяйственного года под грузом, который раздавил бы почти любого другого человека. Но их терпению и выносливости нет предела, и какова бы ни была их судьба, они принимают ее с мрачным стоицизмом [Smith 1892: 155].

Пассивность крестьян (даже в тяжелых условиях) объясняла их проблемы и давала надежду на их решение.

И последнее: американские сотрудники по оказанию чрезвычайной помощи часто приносили интеллектуальные способности крестьян. Даже в целом сочувствующий им Уильям Эдгар признал, что у крестьян «мозги, похоже, не очень активны». В другом месте он назвал русских земледельцев «погрязшими в суевериях и совершенно не поддающимися разуму». Он даже сравнивал крестьянок с коровами из-за их пустых и бездумных выражений лица⁶¹. Клара Бартон, глава Американского Красного Креста, аналогичным образом высмеяла невежество и суеверия крестьян, назвав их «слепыми к свету цивилизации»⁶².

Предполагаемые черты характера русских крестьян делали их уязвимыми не только к крайней нищете и даже голоду, но также и к грабежу от рук евреев в русской деревне. Дискуссии о России в 1880-х и 1890-х годах часто вращались вокруг евреев, в значительной степени из-за огромного числа русских евреев, эмигрировавших в Западную Европу и особенно в Соединенные Штаты после погромов 1881 года. Ограниченный интеллект крестьян, плохие трудовые привычки и простодушие, как утверждалось, сделали их легкой добычей спекулянтов и процентчиков в деревнях, как кулаков (богатых крестьян), так и ростовщиков. По словам одного автора, фатализм и «бесхитростное» отношение крестьян не могли сравниться с «концентрированной алчностью, хитростью, мошенничеством и финансовыми способностями евреев» [Stevens 1892: 198–199]. Таких взглядов придерживались и американские дипломаты в Санкт-Петербурге, многие из которых предупреждали, что прямая помощь голодающим принесет пользу не отсталым крестьянам, а только их еврейским эксплуататорам⁶³. С одной стороны, эти заявления отражают антисемитизм той эпохи. Но, с другой стороны, они демонстрируют, как оценки национального характера – как евреев, так и русских – формировали восприятие России и политику в ее отношении.

Некоторые американские наблюдатели предполагали, что лучшая защита крестьян от евреев исходила от их бывших хозяев и нынешних помещиков. Эдгар разделял ностальгию Хэпгуд по крепостному праву в России. Подобно литературному импресарию, Эдгар утверждал, что «крестьянину, по-видимому, гораздо хуже [в 1893 году], чем было до отмены крепостного права», особенно если оставить в стороне «вопрос о личной свободе». Он даже видел положительные стороны в кризисе, связанном с голодом: это было «скрытое благословение», потому что оно вернуло «крестьянина и его давнего правителя к их прежним отношениям». Эдгар основывал это ностальгическое утверждение не только на неспособности крестьян самостоятельно заниматься своими делами, но и на их слепой преданности своим помещикам и осо-

⁶¹ См. [Edgar 1893: 47–48; Edgar 1892b: 579]. Хотя на первый взгляд, если судить по названию, эта статья призвана обвинять в голоде общинное землевладение (которое «не выдержит испытания практического опыта»), в ней более подробно обсуждается крестьянский характер (особенно его недостатки) как препятствие для перемен.

⁶² Информационное письмо Бартон от 29 января 1892 года. АВПП. Ф. 170. Оп. 512/1. Д. 737. Л. 130–131.

⁶³ Вуртс госсекретарю Джеймсу Блейну, 16 мая 1892 года. FRUS 1892, 384; Вуртс Уоргону, 7 августа 1890 года. SDR, Делеша послов США в России, № 27. См. также [Spetter 1974: 237–238].

бенно царю. Крестьяне не стремились к свободе, писал Эдгар, а были счастливы как крепостные, работающие на своих хозяев. Подобно американским рабам, русские крестьяне были способны процветать только под руководством знатного землевладельца, который мог взять на себя ответственность за их развитие. В рецензии, опубликованной в только образованном на тот момент журнале «Annals of the American Academy of Political and Social Science», была высказана аналогичная мысль: сочетание лояльности, несамостоятельности и отсутствия интереса к свободе русских крестьян вызывают у них желание вернуться к зависимости от своих помещиков⁶⁴. Независимо от того, ссылались ли авторы прямо на обстоятельства недавно освобожденных рабов на юге США или нет, в ту эпоху сила подобной ложной ностальгии проявляется во всех американских работах о России.

Если многие американские наблюдатели винили глупость, фатализм, терпение и зависимость крестьян в том, в каких плохих условиях они находились, то другие видели основную проблему в организации крестьянского хозяйства. Оценки экономических институтов, особенно *мира*, или общины, были тесно связаны с оценками характера. Как прокомментировал один автор в «The Chautauquan», *мир* был лучшим выражением «наиболее существенных национальных инстинктов русского характера»: чувства «примитивного равенства», взаимной зависимости и патриархальной организации, не говоря уже о таких чертах, как лояльность и апатия [Wuman 1892: 61]. Тем не менее Эдгар и другие отмечали, что *мир* в то же время несет ответственность за устаревшую и непродуктивную российскую сельскохозяйственную систему. Таким образом, национальный характер, проявившийся в *мире*, был ведущим фактором экономических проблем России. Статьи в «Annals» и «Forum» – обе взяты из широко читаемого «Review of Reviews» – критиковали «деспотизм *мира*», который уничтожал любые возможности для индивидуального обогащения. Только благодаря «индивидуальным амбициям», утверждал Эдгар, Россия сможет заполнить «огромную пустоту [то есть сельское хозяйство] в самом сердце империи» [de Lastrade 1892: 225–226; Edgar 1892b: 576, 581]. Поддерживая поворот в сторону индивидуализма в российской экономике, многие американские наблюдатели почти не видели перспектив для таких изменений. Эдгар вторил Гакстгаузену, утверждая, что, какой бы непродуктивной и отсталой она ни была, общинная система соответствовала характеру крестьянства.

Некоторые американские наблюдатели подчеркивали свой партикуляризм, утверждая, что Россия находится за пределами Европы. Дипломат Чарльз Эмори Смит в печати задался вопросом: «Возможно ли, чтобы одна засуха привела к голоду такого масштабного характера?.. Возможно ли, чтобы такая крайняя нищета, которая больше похожа на посещение древних или отдаленных восточных мест, могла оказаться в пределах современной европейской системы?» [Smith 1892: 542]. Голод был доказательством того, что Россия принадлежала к другому миру; такое разрушение никогда не могло произойти в истинно европейской стране. Джордж Кеннан дал ответ на вопрос Смита: «Вероятно, нет другой страны в Европе, где после одного неурожайного года менее чем через два месяца крестьянам пришлось бы перейти к жизни на корнях, отрубях и сорняках» [Kennan 1892: 7]⁶⁵.

Если место России не в Европе, то где же? Многие авторы вторили предположению Смита о «посещении восточных мест», понимая голод как доказательство того, что Россия действительно была азиатской страной. Наблюдатели сравнивали Россию с Индией, отчасти из-за размера колонии, но также и из-за часто случавшегося там голода (включая 1866, 1877 и 1891 годы)⁶⁶. В одной статье в журнале «The Nation» даже указывалось, что ситуация

⁶⁴ Рецензия на книгу Уильяма Харбутта Доусона опубликована в: Annals. 1894. July. Vol. 5. P. 118–120. См. также [Edgar 1893: 579–581; Edgar 1892a: 698]. О структурном сходстве освобождения рабов и крепостных в 1860-х годах см. в [Колчин 2016].

⁶⁵ Вполне предсказуемо, что в тяжелом положении крестьян Кеннан обвинил российское правительство.

⁶⁶ См. редакционные статьи: What Is to Be Done? // Free Russia. 1891. December. Vol. 2. P. 5; The Famine in Russia // Review

в Индии более благоприятна, чем в России, из-за эффективности последних британских усилий по предотвращению голода⁶⁷. Голод только подтвердил, что позиция России была ближе к Азии, чем к Европе. Для партикуляристов российский кризис был результатом русского национального характера.

Однако для других наблюдателей голод был доказательством не того, что Россия находится за пределами Европы, а того, что настоящее России – это прошлое Европы. Аккуратно переворачивая утверждение Маркса о том, что промышленно развитые страны показывают отсталой стране «образ ее собственного будущего», эти наблюдатели предположили, что нынешний кризис в России был частым явлением в Европе – но только в ее прошлом. Сотрудник службы помощи Уильям Эдгар, например, описал голод в России как «мрачную, мрачную сказку о давно минувших годах, об условиях, которые с развитием цивилизации сделались невозможными»⁶⁸. В «Review of Reviews» также подразумевали, что голод является анахронизмом в современном мире; голод в России, как было заявлено в редакционной статье, «дает нам представление о том, как люди страдали в прошлые века»⁶⁹. Россия шла по тому же пути прогресса, что и остальная Европа, но сильно отставала. Подразумевалось, что Россия была иной, но не по своей сути.

Американские наблюдатели конца XIX века, безусловно, не желали, чтобы Россия вошла в круг современных наций, и использовали язык европейских комментаторов, чтобы обосновать ее исключение. И все же они предлагали разные, даже противоречивые объяснения такого исключения России. Для Фоулка, Уайта и Смита отличия России были врожденными, что делало ее жителей менее развитыми в плане умственных способностей и промышленности. Другие, в том числе Холстед, Ривз и в первую очередь Кеннан, в этих же чертах винили русское самодержавие или православие, а не национальность. Для этой последней группы голод продемонстрировал не то, что проблемы России являлись врожденными, а то, что русские могли бы – в какой-то отдаленный период – достичь европейского уровня промышленности и материальных стандартов, если бы только они могли избавиться от своих угнетателей.

Не все американские участники дискуссий о России разделяли эти две позиции. Два русских иммигранта, И. А. Гурвич и В. Г. Симхович, предложили более радикальный универсалистский довод, заключающийся в том, что Россия в тот момент становилась модернизированной индустриальной страной. Утверждения этих иммигрантов, основанные на идеях Маркса, резко обострили американские дискуссии о России. Полностью отвергая стереотипы о национальном характере, вместо этого они изображали *мир* как основной источник угнетения крестьян. Хотя они соглашались с характеристиками, которые дали общине урожденные американцы, они возлагали еще большие надежды на ее упразднение. Их надежды основывались на убеждении, что *мир* является механизмом политической и экономической эксплуатации, а не хранилищем духовных ценностей России. Хотя оба иммигранта жили в 1890-х годах в Нью-Йорке, их идеи по сельскому вопросу были теснее связаны с русскими дискуссиями, чем с американскими. Их нападки на популизм также были частью русской аргументации. Хотя тогда и в Соединенных Штатах, и в России шли дебаты по поводу популизма, идеи и смыслы движения в двух странах существенно различались. Народничество в России начиналось как движение элиты «к народу», в то время как американский популизм имел явно антиэлитарный оттенок. Русские народники, несмотря на их противостояние с марксистами, больше основывались на спорах с марксистами, чем их американские коллеги. Политический контекст также имел значение: американские популисты поднимались и падали в предвыборной политике, в то

of Reviews. 1891. October. Vol. 4. P. 378.

⁶⁷ См. редакционную статью: The Precautions against Famine in Russia and India // Nation. 1891. 20 August. Vol. 53. P. 137–138.

⁶⁸ Цит. по: [Smith 1994: 131]. См. также [Edgar 1893: 6, 4].

⁶⁹ Редакционная статья: Russia's Scourge // Review of Reviews (New York). 1892. 5 February. P. 1.

время как народники в России сталкивались с угрозой постоянных преследований и арестов со стороны царской полиции⁷⁰.

Симхович и особенно Гурвич участвовали в жарких спорах между марксистами и народниками конца XIX века, которые проходили среди интеллигенции в сибирских деревнях, где жили ссыльные, в подпольных кружках по всей России и в сообществах русских революционеров, разбросанных по всей Западной Европе. Большинство участников соглашались с тем, что конечной целью для России является коммунизм, но они резко расходились во мнениях о том, как достичь этой цели. Спор касался роли крестьянской общины. В то время как народники превозносили первобытный коммунизм *мира* как зародыш коммунистической России, марксисты рассматривали общину как пережиток феодализма и препятствие историческому прогрессу. Одним из наиболее значительных – и наиболее весомых – марксистских вкладов стала работа «Развитие капитализма в России» (1899) В. И. Ленина, который настаивал на том, что расширение рыночных отношений вот-вот приведет к разрушению общины, приближая Россию к капитализму, а следовательно, и к коммунизму.

Ленин, склонный оставлять уничижительные критические замечания в адрес других авторов, высоко ценил Гурвича. Он отметил «прекрасную» работу Гурвича и «удивился» его статистическим навыкам. Гурвич был всего лишь вторым, кто написал в Америке диссертацию по русской тематике, но вряд ли этот факт объясняет одобрительный отзыв Ленина. В своей диссертации Гурвич утверждал, что крестьянская община рушится под давлением экономического неравенства и распространения денежной экономики⁷¹. То, что его аргументы совпадают с доводами Ленина, не должно вызывать удивления. Гурвич долгое время активно участвовал в русских радикальных кружках; его сестра по сути помогла перевести «Капитал» на русский язык. Его деятельность привела не только к тому, что он был сослан в Сибирь (где познакомился с Джорджем Кеннаном), но и, возможно, к его бегству из России. Он поселился в Нью-Йорке, где редактировал еженедельную русскоязычную газету «Прогресс» и поступил в Колумбийский университет⁷². Аргументация Гурвича была в точности такой же, как и у Фридриха Энгельса, который написал, что голод в конечном счете должен «послужить делу прогресса человечества». Гурвич чувствовал необходимость заявить о «независимости суждений», хотя пришел к тем же выводам, что и Энгельс⁷³. Оба обвиняли в голоде не крестьян, а общие условия российской экономики, «отсталость русского сельского хозяйства» [Гурвич 1941: 120]. Более того, и Гурвич, и Энгельс рассматривали голод как знаковое событие для России, сигнализирующее о появлении новой социальной системы: капитализма [Hourwich 1893]. В этом смысле хорошие вести пришли вместе с плохими (а фактически *из-за* них): голод поможет отделить рабочих от земли и превратить крестьян в рабочих. Стимулируя прогресс в направлении капитализма, голод значительно приблизил коммунизм⁷⁴.

Анализ Гурвича был близок к мыслям другого эмигрировавшего в Соединенные Штаты мыслителя, который также склонялся к марксистскому пониманию прогресса. В. Г. Симхович защитил диссертацию в Университете Галле (Германия), где познакомился со своей будущей женой Мэри Кингсбери. Когда в 1898 году она вернулась в Соединенные Штаты, чтобы управлять поселением в Гринвич-Хаусе, он вскоре последовал за ней, в конечном итоге получив назначение на должность профессора экономической истории в Колумбийском университете [Simkhovitch 1938: 50–51, 87; Rodgers 1998: 85–86]. Давно изучая марксизм, Симхо-

⁷⁰ По поводу американских популистов см. [Goodwyn 1976]. При изучении русского народничества стоит обратить особое внимание на работу [Wortman 1967]. Сравнительный анализ см. в [Taggart 2000, ch. 2–3; Pollock 1962, ch. 5].

⁷¹ О том, как Ленин использовал эту книгу, см. в [Гурвич 1941: 4–6; Ленин 1947: 185–186; Dossick 1960].

⁷² Некоторые аспекты его биографии взяты из [Epstein 1965, ch. 8; Кеннан 1906].

⁷³ Письмо Энгельса Даниельсону от 15 марта 1892 года [Энгельс 1965: 266]. См. также [Энгельс 1962: 261].

⁷⁴ Это тема многих статей Гурвича в «Прогрессе». Например, см.: Крестьянский вопрос в полицейском государстве // Прогресс (Нью-Йорк). 1892. 19 февраля. № 11; Голод в России // Прогресс (Нью-Йорк). 1891. 20 декабря. № 3.

вич заимствовал многие из своих ключевых концепций из марксистской традиции; позже он написал монографию о разновидностях марксизма [Simkhovitch 1913a]. Следуя этим концепциям, Симхович связал русский *мир* с тем, что он назвал российской «карликовой экономикой» (*Zwergwirtschaft*). Община, писал он, способствовала обнищанию не только своих членов, но и национальной экономики в целом. Симхович обрушился на два общепринятых взгляда на *мир*: что это естественное и подлинное осознание сущностной русскости и что он обеспечивает возможный путь к свободе. Он отверг как «басню» утверждение о том, что *мир* был природным (*ursprünglich*); он был искусственно создан для облегчения сбора налогов. *Мир* также не был уникальным русским явлением; напротив, это была форма социальной организации, которая появилась (недавно или ранее) во всех странах⁷⁵. Если прошлое *мира* было мифом, то как же он может обеспечить будущее России? Хотя народники возлагали на *мир* свои надежды на коммунистическую Россию, которая обеспечит свободу крестьян, Симхович сомневался в осуществимости этой перспективы. Наоборот, народники боролись за «сохранение системы, при которой существование, соответствующее человеческому достоинству, совершенно невозможно» [Simkhovitch 1897: 678]. Ключом к будущему России была ликвидация *мира*. В той мере, в какой голод может ускорить этот процесс, даже катастрофа такого масштаба может быть выгодна. Признавая «страдания нынешнего поколения крестьян и ремесленников», Симхович упорно смотрел в более светлое будущее: «Каким бы болезненным ни был этот период, он должен скоро закончиться» [Simkhovitch 1900: 384].

Симхович и его друг и коллега-марксист Гурвич согласились по большинству вопросов о *мире*: он не был проявлением славянского духа; он угнетал своих членов и препятствовал экономическому росту; и его упадок, о котором сигнализировал голод 1891–1892 годов, был как неизбежным, так и благотворным⁷⁶. Основывая свой анализ на экономических структурах, а не типах личности, Симхович и Гурвич полагали, что община представляла прошлое России, но не ее сущность. Россия для них не была мифической и мистической страной, удаленной от Европы. Ее развитие было просто еще одной главой в книге мирового прогресса, немного запоздалой, но ничем не отличающейся от событий в предыдущих главах, действие которых происходило в Великобритании, Франции, Германии и Соединенных Штатах. Однако эти идеи имели мало значения в американском контексте. Гурвич и Симхович больше общались друг с другом и с коллегами-социалистами за рубежом, чем с другими наблюдателями в Соединенных Штатах. Их труды о голоде и его последствиях резко контрастируют с американскими работами.

Этот контраст между марксистами-эмигрантами и урожденными американцами виден в том, как различные авторы в Соединенных Штатах дистанцировались от России. Различия в описаниях показывают степень, а также суть разрыва между универсализмом Гурвича и Симховича и партикуляризмом других. Универсалисты согласились с партикуляристами в том, что Россия не похожа на Соединенные Штаты или Западную Европу, но для того, чтобы доказать это, использовали другой язык и другую логику. Универсалисты считали Россию отсталой или слаборазвитой. Как и другие отсталые нации, она в конечном счете достигнет более высокой стадии истории – капитализма. Россия еще не проявила признаков цивилизованного общества, заключил Гурвич, но тем не менее она будет медленно продвигаться по пути исторического прогресса [Hourwich 1894: 87, 94; Hourwich 1892: 673]. Такие события, как голод, были прискорбной необходимостью на пути прогресса. Окончательная судьба России ничем не отличается от судьбы любой другой страны.

⁷⁵ См. [Simkhovitch 1898: 12]; рецензия на книгу в: PSQ. 1903. Декабрь. № 18. С. 703; [Simkhovitch 1900: 384; Simkhovitch 1913b: 398].

⁷⁶ Гурвич, рецензия на книгу. PSQ. 1899. Сентябрь. № 14. С. 541–544; Симхович Гурвичу, 24 ноября 1897 года. Isaac A. Hourwich Papers, folder 113.

Большинство американских писателей, в отличие от этих универсалистов, подчеркивали отличия России от Европы и использовали особенности страны для объяснения ее затруднительного положения. Они наделяли особые институты, такие как *мир*, мифическим происхождением, считая их проявлениями русского духа. Русский характер, в свою очередь, был укоренен в буквальном смысле в почве. Вторя, если не полностью заимствуя у них, европейским писателям того времени, американские наблюдатели выделяли особенности русского характера и выводили его из земли и климата России. Политические институты, экономика и народ России обязаны своей самобытностью специфическим особенностям географии и метеорологии. В отличие от французских историков, к которым они часто обращались, американские авторы, такие как Джордж Кеннан и Уильям Дадли Фоулк, могли представить развитие и прогресс России. Однако их аргументы по этому вопросу временами были расплывчатыми и непоследовательными; действительно, Кеннан и Фоулк уделяли больше времени каталогизации различий, чем теоретизированию относительно конвергенции. Их свободное заимствование американских аналогий – о бывших рабах, преступниках и фермерах – предполагает как скрытый универсализм, так и любительский реформизм их работы. И все же в основе их аргументов или в узле их переплетенных объяснений лежала идея о том, что Россия когда-нибудь сможет преодолеть свои природные ограничения, а также оковы самодержавия. В основе этого убеждения лежал универсализм, но тем не менее оно отличалось от полноценного универсализма Гурвича и Симховича. Идеи иммигрантов, импортированные из России через Сибирь и Германию, но в конечном счете восходящие к Марксу, оказали незначительное влияние на ведущих экспертов по России в Соединенных Штатах. В то время как американские эксперты пытались понять события в России – и сама Россия стремительно приближалась к революции, – они находили объяснения в национальной истории, национальном характере и национальной уникальности.

Глава 3

Изучая ближайшего восточного соседа

В последовавшее за голодом десятилетие внимание к России снова выросло, на этот раз из-за создания американских исследовательских университетов и разработки в них общественно-научных дисциплин. Существовавшее ранее объединение самоопределившихся интеллектуалов, членов Американской ассоциации общественных наук (англ. American Social Science Association), не проявляло никакого интереса к России. За четыре десятилетия в печатном издании этого объединения, «Journal of Social Science», была опубликована только одна статья о России – и это было письмо русского человека, появившееся в год основания журнала, в 1869 году [Tourgeneff 1869]. Но в 1890-х годах произошли некоторые изменения. Гарвард, старейший университет Америки, нанял первого в стране ученого, который уделял значительное внимание изучению России. Арчибальд Кэри Кулидж внес не только интеллектуальный, но и финансовый вклад в становление русистики в Соединенных Штатах. Поскольку его интерес к России проистекал из области истории международных отношений, Кулидж практически игнорировал ее внутренние события. А в 1892 году, вскоре после открытия своих дверей, и Чикагский университет нанял первых специалистов по России. В отличие от Кулиджа, чикагский эксперт Сэмюэль Нортроп Харпер изучал Россию в надежде, что там произойдет политическая либерализация. К тому же эти два эксперта действовали по-разному: работа Кулиджа в качестве ученого, советника и импресарио принесла ему звание «отца русистики» в Соединенных Штатах⁷⁷. Следуя этой логике, Харпера можно было бы назвать «дядей-холостяком» этой сферы; хотя Харпер посвятил России больше времени, чем Кулидж, он не оставил после себя ни потомства, ни наследства.

Родовое сходство между Кулиджем и Харпером можно проследить по работам французских историков Анатоля Леруа-Больё и Альфреда Рамбо, с которыми оба американца имели прямой контакт. Признание России законным полем для научных исследований укрепило роль, которую эти два французских историка будут играть в американской мысли. Хотя в первые годы профессионализация исторической науки происходила медленно, все ее основные цели согласовывались с идеями, выдвинутыми Леруа-Больё и Рамбо. Профессиональные историки писали в основном для других ученых, применяли различные теории, а не полагались на личные наблюдения, и явно обращались к работам ученых, работавших ранее⁷⁸. Стремясь достичь этих профессиональных целей, Кулидж и Харпер уделили пристальное внимание географии и климату, а также сохранили в своих объяснениях прошлого и настоящего России упоминания о чертах характера.

Первоначальный толчок к изучению России на базе университетов возник, как ни странно, не внутри научного сообщества, а в ходе более широкой общественной дискуссии. Все началось с Изабель Хэпгуд, которая искала способы привлечь внимание американцев к России, после того как в 1892 году проблема голода пошла на убыль. В письме в журнал «The Nation» она изложила необходимость в должности профессора в области русистики и критерии ее создания: в идеале она должна быть введена либо в Бостоне, либо в Чикаго (то есть либо в Гарварде, либо в Чикагском университете), и тот, кто ее займет, должен достаточно бегло владеть языком. Настаивая на том, что эта работа «требует знания русского языка в устной

⁷⁷ Основоположителем русистики называл Кулиджа его ученик Роберт Кернер, а посол Временного правительства в Вашингтоне Б. А. Бахметев назвал Кулиджа деканом этой области. Цитата Кернера приводится в письме Харпера к Сайрису Маккормику от 14 мая 1917 года. См. в Sугус McCormick Papers, box 117; письмо Бахметева Кулиджу от 9 января 1925 года см. в Archibald Cary Coolidge Papers, series HUG 1299.5, box 1.

⁷⁸ См. [Novick 1988, ch. 2; Ross 1991, ch. 3].

и письменной форме, которым не обладает ни один американский мужчина», Хэпгуд призвала, чтобы эту должность занял ученый из Санкт-Петербурга или Киева [Hargood 1892b: 447; Saul 1996: 392–395]. На письмо последовало два ответа. Первый был от коллеги-переводчика Натана Хаскелла Доула, который отметил маловероятность того, что у такого профессора «не будет отбоя от учеников», но настаивал на том, чтобы эту должность занимал кто-то, также отлично владеющий английским языком. Более необычным было письмо от учителя из Канзас-Сити Лео Винера («Русского»), который стал продвигать идею, что также могут подойти нерусские иностранцы [Dole, Wiener 1892]. В своем ответе Хэпгуд намекнула, что на самом деле в своем утверждении, что «ни один американский мужчина» не подходит для этой работы, она подразумевала гендерные особенности. Она уверенно (возможно, даже слишком) отвергала любые личные цели, в то же время подчеркивая свои «несколько необычные таланты» в русском [Hargood 1892c]. И на этом дело остановилось, по крайней мере на несколько лет.

Тем временем Арчибальд Кэри Кулидж занял профессорскую должность, на которой он впоследствии останется более трех десятилетий. Кулидж начал свою карьеру в славистике неохотно и, возможно, даже случайно. Рожденный в высших кругах бостонских аристократов, он мог утверждать, что имеет среди своих прямых предков таких выдающихся людей, как Томас Джефферсон и Покахонтас. Не имея проблем с деньгами (что обеспечивал целевой фонд), Кулидж последовал семейной традиции и поступил в Гарвард. В 1887 году он окончил университет с отличием и получил ученую степень по истории. Как и большинство историков, заинтересованных в продолжении образования, Кулидж отправился в Берлин и Париж; он посещал лекции Леруа-Больё по русской истории и жизни в России [Byrnes 1982: 51]. После двух лет учебы в Париже он переехал во Фрайбургский университет и занялся исследованиями в области конституционной истории США. Во время отпуска в Скандинавии он совершил небольшую поездку в Санкт-Петербург, где, по случайности, его взял на работу секретарь американского представительства Джордж Вуртс. По этой причине Кулидж задержался там на восемь месяцев и за это время овладел языком. Такое погружение в жизнь российской столицы послужило для него отличной стажировкой по изучению как европейской дипломатии, так и русских традиций. Он добросовестно изучил русские обычаи, связанные с употреблением как чая, так и водки, назвав последнюю «довольно слабой жидкостью»⁷⁹. И все же Кулидж стал испытывать беспокойство от этой жизни в дальних странствиях без серьезных занятий. Хотя он не хотел «бесконечно путешествовать ради удовольствия», вернуться домой без ученой степени было бы «признанием в неудаче». К 1892 году, не имея возможности устроиться на постоянную дипломатическую должность и устав от путешествий, Кулидж закончил свою диссертацию о Конституции США. В этой работе были исследованы философские предпосылки создания Конституции, особенно те, которые исходили из-за рубежа⁸⁰.

Вернувшись в Бостон, Кулидж получил должность в Гарварде способом, подходящим джентльмену с его состоянием и положением: благодаря семейным связям. В 1893 году президент Гарвардского университета Чарльз У. Элиот вызвал заведующего кафедрой истории и поинтересовался, можно ли найти место для Кулиджа. Председатель подчинился, и Кулидж вскоре стал неотъемлемой частью этого факультета. Его познания в области изучения России развивались, но очень медленно. Хотя Кулидж надеялся стать экспертом, он признал, что Изабель Хэпгуд знала «в 20 раз больше о России»⁸¹. В 1894 году, преодолев свой изначаль-

⁷⁹ Посол Эндрю Диксон Уайт также надеялся взять на работу Кулиджа вместо Вуртса. См.: White to John Foster, 24 August 1892, SDR, «Despatches from U.S. Ministers to Russia», № 230; письмо Кулиджа отцу от 11 апреля 1891 года, цит. по: [Coolidge, Lord 1932: 30].

⁸⁰ См. [Byrnes 1982: 52–53; Coolidge, Lord 1932: 20–38 (цитата приводится в письме Кулиджа своему отцу от 18 марта 1891 года, с. 26); Coolidge 1892].

⁸¹ Кулидж Чарльзу Р. Крейну, 8 марта 1893 года и 18 июня 1893 года. Оба письма см. в Charles R. Crane Papers, reel 2. См. также [Byrnes 1982: 26].

ный недостаток в знаниях, он начал вести в Гарварде курс по истории Северной и Восточной Европы. С пылкостью, свойственной неопитам, Кулидж вскоре написал манифест, призывающий других читать такой курс. Этот манифест, опубликованный в зарождающемся журнале «American Historical Review», призывал к дальнейшему изучению истории Северной Европы, под которой Кулидж подразумевал Скандинавию, Балтию, Польшу и Россию. Он подчеркивал, как изучение этой территории будет способствовать развитию исторической науки. Исторические исследования Северной Европы, в частности, позволили бы расширить знания о «влиянии физической географии на характер и историю» – теме, хорошо изученной Рамбо и Леруа-Больё. Действительно, в конспектах лекций Кулиджа на курсах часто упоминаются эти исторические исследования [Emerton, Morison 1930: 166; Coolidge 1896]⁸². Кулидж также применил некоторые принципы немецкого подхода «изучения стран». Для исследования истории России, заявил он, требуется тщательное изучение литературы, обычаев общества и особенно языка [Wynes 1994: 8]⁸³. Вскоре он начал восполнять нехватку преподавателей в Гарварде в этих вспомогательных областях.

Интерес Кулиджа к расширению курсов Гарварда по славянской Европе совпал с обновлением общественного спроса на университетские программы по русскому языку. В 1894 году переводчик Натан Хаскелл Доул снова поднял этот вопрос. В журнале выпускников Гарварда он призвал университет создать кафедру, посвященную изучению России, которую он назвал «нашим ближайшим восточным соседом». Он обосновал свою позицию национальными и интеллектуальными потребностями: он надеялся на расширение ограниченных торговых отношений, а также отметил важность славянского языка для исследований в области сравнительной филологии [Dole 1894: 180–181]. Увещевания Доула и интерес Кулиджа обернулись удачей для Лео Винера. Вскоре после своего письма в «Nation» Винер покинул Средний Запад и стал работать в Бостонской публичной библиотеке, в то время как его спонсор Фрэнсис Чайлдс изучал возможность назначения в Гарвард. Кулидж так сильно желал назначения Винера, что не только подыскал ему должность на кафедре современных языков, но и в течение многих лет платил Винеру зарплату⁸⁴. Винер родился в России и был необычным славистом, знавшим более 40 языков. Обладая выдающейся работоспособностью, он за два года перевел на английский язык 24 тома сочинений Толстого; в числе его работ также двухтомная «Антология русской литературы». До того как разочароваться в большевистской России, Винер активно переводил и преподавал русский язык в Гарварде. Он даже опубликовал книгу, в которой перечислил русские черты: фатализм, расточительность, сексуальную распушенность и привычку пьянствовать. Продолжая мысли, выраженные в работах Джорджа Кеннана и Анджо Диксона Уайта, Винер возложил вину за эти черты на географические особенности и политическое устройство⁸⁵. После 1917 года он погрузился в невероятное сочетание готической литературы, скандинавских языков и идиша⁸⁶. Как только он обеспечил Винеру должность в 1894 году, Кулидж вернулся к преподаванию, исследованиям и научному предпринимательству.

А. С. Пушкин однажды написал об М. В. Ломоносове: «Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом» [Пушкин 1978: 191] – эти слова будут лишь небольшим преувеличением, если отнести их к роли Кулиджа в развитии американской науки. Помимо своих разноплановых работ по истории международных отношений,

⁸² Конспекты лекций см. в History 19, Coolidge Papers, series HUG 1299.10, box 2. Статья Кулиджа и учебный план идут вразрез с утверждением о том, что разделение Европы на северную и южную части было в XVIII веке вытеснено линией раздела на восток/запад. См. [Вульф 2003: 36].

⁸³ Подробнее о немецкой модели см. в [Palme 1914].

⁸⁴ См. [Винер 2001a: 32; Parry 1967: 51].

⁸⁵ См. [Wiener 1915: 1–3, 12, 37]. Выделенный им список черт похож на список британского журналиста Э. Джей Диллона в [Lanin 1892].

⁸⁶ См. [Wiener 1902; Tolstoy 1902–1904; Винер 2001b: 10–13; Винер 2001a: 208].

Кулидж был известным преподавателем, трудолюбивым научным руководителем, влиятельным лицом на историческом факультете, крупным поборником межвузовского спорта и библиотекарем колледжа. Его финансовые взносы, возможно, даже превысили этот интеллектуальный и организационный вклад. Он платил зарплату Винеру, а также историку Фредерику Джексону Тернеру. Кроме того, он приобрел множество книг для библиотеки. За пределами Кембриджа Кулидж консультировал Госдепартамент, помог организовать две (так и не реализованные) программы по изучению России, сотрудничал в Институте политики в Уильямстауне, штат Массачусетс, и был редактором-основателем журнала «Foreign Affairs»⁸⁷. Учитывая все это, называть Кулиджа всего лишь экспертом по России кажется слишком поверхностным.

Хотя Кулидж сделал изучение России частью академической науки, как благодаря своим исследованиям, так и путем спонсорской поддержки, он также изначально ориентировал эту область на международную, а не на внутреннюю историю России. Как вспоминал его брат, Кулиджа интересовали скорее «дела стран, а не мужей» (вероятно, как и жен – контакты Кулиджа с женщинами, видимо, были минимальными после того, как его невеста расторгла помолвку, когда ему было 29) [Coolidge, Lord 1932: 139; Byrnes 1982: 26–27]. Две книги Кулиджа были посвящены международным отношениям среди европейских государств. Его подход был в значительной степени отражением исторической науки в ту эпоху, когда под изучением истории понимались почти исключительно изучение международной дипломатии или институциональных историй церкви или государства [Nigham 1989: 6–25; Emerton, Morison 1930: 159].

Научная работа Кулиджа по «делам стран» была сосредоточена на функционировании европейской государственной системы. Например, серия его лекций о Тройственном союзе (между Германией, Австро-Венгрией и Италией) была посвящена исключительно взаимоотношениям императоров и министров иностранных дел [Coolidge 1917]. В другом сборнике лекций, опубликованном под названием «Соединенные Штаты как мировая держава», несколько раз затрагивались отношения России с Европой, а также с Соединенными Штатами. «Была ли Россия европейской страной?» – риторически вопрошал Кулидж. В его ответе Европа и Азия определялись с точки зрения географии, а также характера; внимательное изучение показало, что даже в Европейской России (то есть к западу от Урала) было «много азиатских элементов». Труды Кулиджа, особенно касающиеся внутренних аспектов русской жизни, несли на себе отпечаток его образования, полученного во Франции и Германии. Они в значительной степени опирались на интерпретации русского характера, который он приписывал то биологическому аспекту (славянской расе), то окружающей среде (климату и ландшафту России). Его ориентиры для этих взглядов были сугубо европейскими: он противопоставлял «серьезную работу» европейских ученых о России «невежественной чепухе», столь широко распространенной в Соединенных Штатах⁸⁸. (Историк из Гарварда произвел положительное впечатление на Леруа-Больё во время их встречи в 1904 году, когда французский ученый путешествовал по США [Leroy-Beaulieu 1908: V].) Хотя Кулидж получил намного лучшее образование, чем его предшественники, такие как Юджин Скайлер и Уильям Дадли Фоулк, тем не менее он включал в свои работы многие из тех же аргументов – во многом потому, что все они читали одни и те же источники.

Кулидж определял национальные черты через географию и связывал их с национальной судьбой. В главе, где он сравнивает Соединенные Штаты и Россию, например, упоминаются как схожие черты, так и контрасты – в первую очередь «славянское самодержавие» [Coolidge 1909: 216, 219]. В неопубликованных работах Кулиджа содержится больше подсказок, помогающих понять его когнитивную географию Европы. На момент его смерти в 1927 году у него

⁸⁷ См. [Byrnes 1982].

⁸⁸ Статья Кулиджа от 5 мая конца 1890-х (?) [New York?]. Evening Post, Scrapbook, Coolidge Papers, series HUG 1299.17.

было три рукописи объемом с книгу на разных стадиях завершенности. В одной из них, «Экспансия России», Кулидж проследил отношения России со своими соседями в Европе и Америке. Вступление России в Европу произошло не через внутреннее политическое или экономическое развитие, а только через смешанные браки с западноевропейскими королевскими особами. Даже не внося никакого вклада в «общее развитие мира», Россия стала равноправным членом европейской политической системы⁸⁹.

Чтобы Россия стала европейской страной, нужен был Петр Великий. Кулидж, как и Скайлер, связывал именно с Петром полную метаморфозу государства в России из «рыхлого азиатского деспотизма» в «современное самодержавное и бюрократическое государство». Однако самодержцу не удалось преобразовать все население. В результате в границах России появились две нации: «европейский, утонченный и иногда коррумпированный высший класс, с одной стороны, [и] огромная масса, все еще погруженная в невежество, где она оставалась веками, с другой»⁹⁰. Как излагал Кулидж в письмах, которые он писал во время своего путешествия по России, этот дуализм сохранился и до его времени; Россия все так же представляла собой смесь европейского и азиатского. Даже Санкт-Петербург, родина петровских преобразований, продемонстрировал свою долю «восточного колорита»⁹¹. Подобно Кеннану и Скайлеру, Кулидж использовал черты характера (зашифрованные в географических категориях) для выражения социального расслоения в России.

Кулидж также защищал российский империализм, основываясь на доводах, сходных со взглядами Скайлера. В опубликованных и неопубликованных работах об экспансии России он стойко защищал ее колониальную миссию, противостоя тем, кто, подобно Уильяму Дадли Фуолку, считал Россию экспансионистской по своей сути. Кулидж утверждал, что территориальное расширение России не было результатом ни мессианской деятельности, ни генетической предрасположенности; это был путь «наименьшего сопротивления и наибольшей выгоды». Оценка Кулиджем российской политики в Средней Азии согласовывалась с идеей Скайлера о том, что военные кампании – единственный способ установить там порядок. В одной рукописи имеется категоричное утверждение: «Ни одно цивилизованное современное государство в долгосрочной перспективе не потерпит соседства с нагромождением варварских княжеств и племен, неспособных и часто не желающих поддерживать порядок в пределах своих собственных границ или предотвращать грабежи за их пределами». Как и британское правление в Индии, утверждал Кулидж, процесс российской экспансии был естественным и в конечном счете прогрессивным⁹². Опять же, это перекликалось с аргументом Скайлера, хотя Кулиджа больше интересовали международные отношения, чем перспективы социальных преобразований.

Хотя Кулидж совсем немного писал о социальной структуре России, ее интеллектуальной и культурной истории или жителях, но все же его труды дают некоторое представление о его взглядах на русский национальный характер. В его работах на социологические темы национальному характеру уделяется гораздо больше внимания, чем в его трудах о дипломатии. Опираясь на труды крупнейших историков, изучающих Россию, в рукописи об экспансии России Кулидж подробно изложил аргументацию о влиянии географии и климата на ее характер и историю. Суровый климат, утверждал Кулидж, привел к появлению «энергичного [и] выносливого населения», способного приспособиться к бесчисленным трудностям жизни в бесплодной степи. В то же время он упомянул о «моральных, а также физических недостатках такого климата». Сочетание вынужденного безделья в течение долгих зим и лихорадочной

⁸⁹ Coolidge A. The Expansion of Russia. Coolidge Papers, series HUG 1299.15, box 1, ch. 2, p. 26; ch. 3, p. 1.

⁹⁰ Ibid. Ch. 8, p. 35, 34, 39–40.

⁹¹ Письмо Кулиджа отцу, 11 апреля 1891 года, в [Coolidge, Lord 1932: 31].

⁹² См.: Coolidge A. Expansion of Russia. Ch. 11–14; [Coolidge 1901: 63, 64, 70].

активности в течение короткого лета создало крестьянство, более склонное к пьянству, чем к производству. Этот цикл создал «скачкообразный характер» в России, не только в экономическом плане, но и во всей русской жизни. Долгие зимы также способствовали тому, что Кулидж назвал национальной меланхолией.

Климат повлиял не только на национальные настроения, но и на политическую ситуацию в стране. На первой странице этой объемной рукописи Кулидж отметил, что, учитывая культурные условия в России, «в высокоцентрализованной организации есть множество преимуществ, которые направляют и поднимают, а также сдерживают массы». Самодержавие, каким бы отвратительным оно ни было для «англосаксов», целесообразно в России. Таким образом, эта рукопись стала результатом долгого пути к выполнению одной части исследовательской программы, изложенной в его статье в «*American Historical Review*»; в ней исследовалась взаимосвязь между географией, климатом и историей⁹³.

Однако в других своих работах Кулидж подчеркивал не природные аспекты национального характера, а биологические. Проводя различие между русскими и украинцами (или великороссами и малороссами, по терминологии того времени), Кулидж отметил расовые смешения. Обе группы содержали славянскую кровь и, следовательно, проявляли славянские черты. Русские смешались с финнами, что дало им «выносливость <...> терпение и здравый смысл», в то время как украинцы унаследовали «импульсивность <...> беззаботность <...> [и] художественность» натуры от смешения с турками. Кое-где Кулидж описал политические последствия физической антропологии, утверждая, что границы стран соответствуют разделению на разные расы. Он также изложил обратную логику. Панславянское движение было обречено на провал, писал Кулидж, потому что множество различий в форме головы славян предполагало, что разные расы не смогут объединиться под общим идеологическим знаменем⁹⁴.

Несмотря на то что, описывая русское и славянское общество, Кулидж делал акцент на чертах характера, он занял совершенно иную позицию в отношении российской дипломатии. Он неоднократно настаивал на том, что, «несмотря на различия в истории, идеалах и взглядах на вещи, [русские] во многом похожи на всех нас. Во многих отношениях не особенно лучше и не хуже других»⁹⁵. Русский характер не повлиял ни на форму экспансии (которая во многом совпадала с британской), ни на поведение русских в международной политике. В мире дипломатии, казалось, существовали только лишенные корней дипломаты и государственные деятели. Кулидж представлял дипломатию как область элит, не скованных привязанностями, предрасположенностями или какими-либо другими факторами, кроме рационального расчета национальных интересов. Этот реалистический взгляд – ставящий власть выше предписаний, объективность выше морали и национальные интересы выше индивидуальных желаний – был доминирующим способом понимания международных отношений в XX столетии⁹⁶. Приверженность Кулиджа теоретическому реализму оказалась сильнее его столкновений с беспорядком реальной дипломатии. Многие из его выпускников поднялись до руководящих должностей в департаментах государственного управления и торговли⁹⁷. Действительно, у Кулиджа было так много друзей и учеников на высоких дипломатических должностях, что его роль официального и неофициального советника Госдепартамента, возможно, была неизбежной – он посещал Госдеп так часто, что швейцар знал его по имени [MacCaughy 1984: 80].

⁹³ Coolidge A. *Expansion of Russia*. Ch. 1, p. 1–2, 23–25; Письмо Кулиджа брату Джулиану от 6 сентября 1890 года в [Coolidge, Lord 1932: 21–22].

⁹⁴ Coolidge A. *Expansion of Russia*. Ch. 3, p. 14–15; ch. 12, p. 37; [Coolidge 1927: 223–224].

⁹⁵ Coolidge A. *Expansion of Russia*. Ch. 1, p. 3. См. также: Coolidge A. *Russia and the Present War*. Лекция в Коммерческом клубе и Алгонкинском клубе, 4 марта 1904 года. Coolidge Papers, series HUG 1299.10, box 1.

⁹⁶ См. [Haslam 2002; Rosenthal 1991; Carr 1940].

⁹⁷ См. список в [Coolidge, Lord 1932: 139 note 1]. См. также [Byrnes 1982: 263–264].

Также Кулидж был ведущей фигурой в американской академической науке о России. По меньшей мере четверо из его студентов продолжали преподавать на историческом факультете Гарварда (плюс один в правительственном департаменте), а программы по истории России в университетах Иллинойса, Миссури и Калифорнии были организованы другими студентами Кулиджа⁹⁸. Центральная роль Кулиджа на перекрестках власти и знаний сделала его одним из основоположников (и ведущих спонсоров) русистики в Соединенных Штатах. Однако представления Кулиджа о русском характере не могли претендовать на новизну. Его анализ России, особенно ее внутренних дел, основывался на представлениях, сходных с доводами американских любителей XIX века и французских историков. Он подразумевал, что только дипломаты стоят вне и выше черт характера тех, кого они представляют. В то время как Кеннан допускал, что люди с характером могут преодолеть свои естественные склонности, Кулидж сузил эту группу только до тех, кто участвует в международной политике. Однако в своих научных работах и других трудах Кулидж систематизировал и вывел в научную сферу сохранившиеся идеи об однородном русском характере, а также о связи между Азией и политической отсталостью. Его научная деятельность показывает, как более ранние американские и европейские идеи о России вошли в научный дискурс XX века.

Как и Гарвард, Чикагский университет в 1890-х годах стремился преподавать русскую тематику. В 1893 году университет нанял И. А. Гурвича, иммигранта-марксиста, получившего степень доктора философии в Колумбийском университете. Первоначально он занимал должность преподавателя статистики, но вскоре расширил свою компетенцию, включив в нее русскую литературу. Однако к 1895 году Гурвич уже не работал в Чикаго. Возможно, он был втянут в борьбу между факультетами политической экономии и социологии, которые оба хотели сами назначать преподавателей статистики. Или, возможно, как утверждал один историк, Гурвич был уволен за поддержку популистского подъема на Среднем Западе в середине 1890-х годов; такой шаг полностью соответствовал бы политике администрации университета, которая в ту эпоху подчинилась политическим ограничениям спонсоров по крайней мере в одном другом случае, связанном с экономистом Эдвардом Бемисом. Заманчиво было бы предположить, что, возможно, по иронии судьбы, Гурвич, который вел борьбу с русскими народниками, теперь потерял работу в Чикагском университете за поддержку американских популистов. Но свидетельств о его увольнении недостаточно⁹⁹.

Славистика в Чикаго получила поддержку и финансирование от Чарльза Крейна, богатого чикагского филантропа, проявлявшего большой интерес к России. Со времени своей первой поездки в Санкт-Петербург в 1884 году, когда Крейн занимался семейным бизнесом по производству водопроводных труб, он был очарован тем, что называл «гением русского народа». Он отождествлял этого гения с русским православием и народными сказками¹⁰⁰. Бросив работу, якобы по состоянию здоровья, Крейн путешествовал по миру с частыми остановками в Санкт-Петербурге и Москве. Во время одного из таких визитов он встретился с Кулиджем, тогда еще работавшим в американском представительстве, и вскоре после этого начал спонсировать связанную с Россией деятельность в Соединенных Штатах [Brosage 1962: 7–8; Saul 1996: 392]. Первые дары Крейна для русистики в Соединенных Штатах выразились в поддержке перевода и публикации книги Анатоля Леруа-Больё «Империя царей и русских»; ее

⁹⁸ См. [Burnes 1982: 161–162, 263–264; Emerton, Morison 1930: 166 note]; Брюс Хоппер, отчет по случаю 50-летия класса 1918 года выпуска. Hamilton Fish Armstrong Papers, box 35. Только двое из студентов Кулиджа, Генри Шипман и Фрэнк Голдер, сосредоточились в первую очередь на России. См. [Emmons 1995].

⁹⁹ Мелех Эпштейн настаивает на политическом мотиве, хотя неточность приведенных им дат снижает доверие к нему. См. [Epstein 1965: 258]. О назначении Гурвича см.: University of Chicago Board of Trustees Minutes. Vol. 1, p. 102, 191, 248, 302. О возможной борьбе за влияние см. письма Дж. Лоуренса Лафлина, заведующего кафедрой политической экономии, Уильяму Рейни Харперу, 5 января 1894 года и 22 декабря 1894 года. См.: University of Chicago Presidents' Papers, box 17, folder 14. По делу Бемиса в 1895 году см. [Furner 1975, ch. 8].

¹⁰⁰ Мемуары Крейна: Crane Memoirs, ed. Walter S. Rogers. Crane Papers, reel 3, p. 18.

американское издание появилось в 1893 году. Также Крейн, возможно, помогал выплачивать зарплату Винеру в Гарварде¹⁰¹.

Однако самая продолжительная благотворительная деятельность Крейна осуществлялась не в Массачусетсе (где его семья владела летним поместьем), а ближе к его дому в Чикаго. Он давно вынашивал идею создания центра русистики в американском университете. Причины крылись как в его любви к России и русским, так и в его отвращении к русским евреям. Слишком долго, возмущался Крейн, в американской прессе о царе и его подданных писали негативно из-за того, что события в России для американской аудитории интерпретировали в подавляющем большинстве евреи и другие нерусские. В 1900 году, когда в Санкт-Петербурге он принимал у себя Уильяма Рейни Харпера, Крейн затронул эту тему в беседе с местными светилами, среди которых были министр образования К. П. Победоносцев и писатель Л. Н. Толстой. Крейна ждал особенно благосклонный прием, когда сообщил царю Николаю II о том, что он способствует созданию кафедры славяноведения в Чикагском университете, на которой будут преподавать приглашенные ученые – «не какие-нибудь поляки, евреи или немцы, а выдающийся славянин»¹⁰². Первый посетитель, либеральный историк П. Н. Милуков, прибыл в Чикаго в 1903 году. Вскоре за ним последовали Томаш Масарик, первый президент независимой Чехословакии, и правовед М. М. Ковалевский [Parry 1947: 28]. В Чикаго славистика нашла как плацдарм, так и спонсора.

Крейн не остановился на приглашении для чтения лекций известных людей. Вскоре он выразил президенту университета свое желание поддержать ученого, интересующегося делами в России. Путешествуя с отцом и сыном Харперами по Франции, Крейн вскоре убедился, что сын президента университета Сэмюэль – его человек. Хотя позже он признал, что «Уэл» Харпер «не был гением», Крейн оценил коммуникативные навыки Харпера-младшего и его желание учиться на собственном опыте, а не по книгам [Parry 1947: 28]¹⁰³. Сам Сэмюэль в этот период учился на последнем курсе университета своего отца (1901–1902) и не имел четкого представления о том, какую карьеру он собирается избрать после окончания колледжа. Крейн познакомил Харпера с Полем Бойером, выдающимся французским ученым-русистом, который впоследствии взял молодого человека под свое крыло¹⁰⁴. Его отец заключил сделку, объявив, что Сэмюэль должен стать «первым авторитетом в Соединенных Штатах по вопросам России»¹⁰⁵. Сын согласился, хотя и не из-за личных амбиций. В 1902 году Сэмюэль Харпер считал, что в России особо ничего не происходит, поэтому изучение русистики станет путем к получению «легких экспертных знаний» [Parry 1967: 58]¹⁰⁶. С этим благоприятным прогнозом он приступил к изучению русского языка и культуры в Специальной школе восточных языков в Париже. Его программа состояла из интенсивного изучения языка, курсов географии и истории. Работы Рамбо и особенно Леруа-Больё занимали видное место в учебных планах¹⁰⁷. После двух лет в Париже Харпер вернулся домой.

Жизнь Харпера в Чикагском университете во многом определялась желаниями его благодетеля. Крейн оговорил, что Харпер должен был проводить половину каждого года за пределами Соединенных Штатов¹⁰⁸. Хотя эта оговорка, должно быть, нравилась любителю путе-

¹⁰¹ Арчибалд Кэри Кулидж Крейну, 18 июня 1893 года. Crane Papers, reel 2; Джордж Харрис (Knickerbocker Press) Эндрю Диксону Уайту, 23 марта 1894 года. Andrew Dickson White Papers, reel 61; Кулидж Чарльзу Крейну, 7 апреля 1896 года. Crane Papers, reel 2.

¹⁰² Crane Memoirs, p. 54, 63, 64, 74; [Saul 1996: 462].

¹⁰³ Цитата Крейна приведена в [Chalberg 1974: 288].

¹⁰⁴ См. переписку в Crane-Lillie Family Papers, box 2, folder 9.

¹⁰⁵ См. предисловие Бернарда Пареса к [Harper 1945: VIII].

¹⁰⁶ Информация Пэрри о Харпере, по-видимому, в основном была взята из личных бесед.

¹⁰⁷ Копию официальной программы обучения см. в Samuel Northrop Harper Papers, box 1, folder 2.

¹⁰⁸ «Уэл Харпер напишет историю», вырезка без даты (1906?) и подписанное соглашение по финансированию Крейном

шествовать Крейну, Харпер был обеспокоен. Еще в 1903 году он выразил озабоченность по поводу посещения «этой интересной, но дикой страны», к изучению которой он сам направлялся¹⁰⁹. Условия назначения – согласно которым Харпер первоначально был определен в школу дополнительного образования, а не в более престижный колледж – по-видимому, вызвали некоторое негодование у других преподавателей¹¹⁰. Условия найма Харпера означали, что он мог оставаться на своем посту, несмотря на такую зависть. Харпер довольствовался преподаванием в Школе дополнительного образования и на самом деле часто пытался отговорить потенциальных студентов от изучения русского языка, называя его предметом, подходящим только для «ненормальных» и «чокнутых» [Parry 1967: 82–84, 94]. Он не работал над созданием академической империи, подобно Кулиджу, а вместо этого возделывал свой собственный небольшой сад.

После своего первого визита в Россию в 1903 году Харпер часто туда ездил, устанавливая ряд важных контактов с американскими дипломатами, интеллектуалами и другими приезжими учеными. Так, например, ожидая в коридорах правительственного учреждения, Харпер встретился с Бернардом Пэрсом, основоположником славистики в Великобритании. Они оставались дружны в течение четырех десятилетий, пережив две революции в России и отречение каждого из них от России. Их отношения укрепились после того, как Пэрс пригласил Харпера на свою программу изучения русского языка в Ливерпульском университете, где Харпер помогал редактировать «Russian Review» и вел занятия с 1911 по 1913 год¹¹¹.

К тому времени Харпер уже получил еще одно образование в области политологии. В 1909 году он сообщил Крейну о том, что ученая степень в Колумбийском университете значительно улучшит его способность понимать и объяснять события в России. После нескольких лет исследований в России и преподавания русского языка в Чикаго он почувствовал, что степень по политологии поспособствует его преподавательской деятельности, позволив включить в нее не только филологию, но и современные проблемы. Будучи аспирантом факультета политологии Колумбийского университета в 1909–1910 годах, Харпер учился у некоторых из наиболее значимых специалистов по общественным наукам той эпохи, в том числе у историков-бунтовщиков Чарльза Бирда и Джеймса Харви Робинсона, а также у экономиста Э. Р. А. Селигмана; историк-марксист В. Г. Симхович также был на этом факультете. Окончив обучение, Харпер познакомился с группами американских реформаторов, таких как Артур Буллард и Синклер Льюис; он также познакомился с некоторыми живущими в Нью-Йорке русскими радикалами. Если добавить к этим контактам связи его семьи и его благодетеля, то Харпер имел обширную сеть знакомств, которая простиралась от убогих прибежищ русского марксизма до кафе Гринвич-Виллидж, где обсуждали социализм в Америке, и роскошных поместий семьи Рокфеллеров¹¹². Он произвел большое впечатление на Чарльза Бирда, который в равной степени говорил и о своей профессиональной деятельности, и о своем студенте, когда написал, что Харпер «использует свой мозг гораздо лучше, чем большинство людей, которые посвящают себя научным занятиям»¹¹³.

Труды Харпера о политической жизни в России сочетали в себе отголоски его первого образования, полученного во Франции, и методы, которым он научился в Колумбийском

преподавания русского языка. См. Harper Papers, box 1, folder 8.

¹⁰⁹ Харпер Гертруде, 30 апреля 1903 года, в Harper Papers, box 1.

¹¹⁰ Например, см.: Элбион Смолл Эдварду Элсуорту Россу, 28 апреля 1917 года. Edward Alsworth Ross Papers, box 9, folder 2.

¹¹¹ Пэрс Харперу, 14 марта 1910 года и 18 марта 1910 года, оба письма в Harper Papers, box 1. См. также [Harper 1945: 67–81].

¹¹² См. [Harper 1945: 61–66], Д. П. Кеппел Харперу, 20 апреля 1909 года. Harper Papers, box 1; Харпер Крейну, 13 октября 1909 года. Crane Papers, reel 2.

¹¹³ Упомянуется в письме от Чарльза Бирда, 23 ноября 1910 года. Harper Papers, box 1.

университете. Неудивительно, что он ссылаясь на национальный характер, перечисляя препятствия на пути развития демократии в России. Культурные и политические условия крестьянства, по мнению Харпера, были серьезными препятствиями для появления в России демократии. Он повторил знакомый набор стереотипов: крестьяне были «беспечны», безответственны, крайне консервативны и небрежны (если не откровенно ленивы) в своих рабочих привычках¹¹⁴.

Эти широко распространенные стереотипы о крестьянской жизни вошли в рассуждения Харпера о поведении русских в более общем плане. Он выделил четыре черты, которые сформировали русский характер и политическую ситуацию. Во-первых, прежде всего Харпер подчеркивал весьма энергичные эмоциональные порывы в русском характере. Редко поддаваясь обоснованным доводам, писал он, русские испытывают глубокие эмоции, часто в «больших вспышках моральной энергии». Во-вторых, Харпер критиковал русские рабочие привычки как спазматическое чередование возбуждения и уныния. Последнее часто доминировало, делая русских парализованными апатией. Уныние русских приводило, по Харперу, к третьей черте – пессимизму, – которая оказала столь же тлетворное воздействие на русскую жизнь. Наконец, Харпер определил отсутствие у русских «твердости характера» как политическую, а не только физиологическую проблему¹¹⁵.

Хотя упоминания об этих чертах, как правило, лишь фрагментарно присутствуют в разных работах Харпера, они согласуются с его общей аргументацией о политическом развитии России. Одна лекция 1910 года объясняет многие из этих связей. Основная тема лекции свидетельствует о том, в какой степени он включил понятие о национальном характере в свой взгляд на жизнь в России. Харпер начал с того, что обратил внимание на молодую и, следовательно, неглубокую культуру России, что означало, что «этот народ остался ближе к природе и, следовательно, в большей степени находится под ее влиянием», – особенно важное соображение, учитывая экстремальный климат России. Неудивительно, продолжал Харпер, что так много качеств русского характера можно приписать природному окружению. Схема длительных затиший, за которыми следуют приступы интенсивной активности, одинаково хорошо применима как к погоде, так и к политической жизни в России. Пессимизм также проистекает из отношения русских к окружающей их земле: «меланхоличная русская душа», писал Харпер, выросла из «плоских и однообразных» русских равнин. Политическая апатия, по той же причине, возникла из чувства бессилия, вызванного огромными размерами страны. Эти аргументы, знакомые по работам Леруа-Больё, показывают, как американские интерпретации политической ситуации в России косвенным образом опирались на оценки русского характера, основанные на географических и климатических аспектах¹¹⁶.

Как и Кулидж, Харпер использовал при анализе современной России географический уклон Леруа-Больё. Основываясь на образовании, полученном ими в Париже, оба американца связали географические особенности страны с национальным характером, а затем с текущими событиями. Появление новых экспертов по России в американских университетах обеспечило институциональное прибежище для таких партикуляристских представлений. И у Харпера, и у Кулиджа было множество возможностей применить эти идеи о русском характере к политической ситуации в России.

Предсказание Харпера 1902 года о том, что в России будет все спокойно, не оправдалось уже в следующем году, когда к растущей волне сельского протеста присоединился Кишиневский погром. К 1905 году, когда военные действия России против Японии обернулись

¹¹⁴ См. лекции Харпера о России, прочитанные в 1906 и 1907 годах. Harper Papers, box 32, folders 20–22. См. также [Harper 1945: 12].

¹¹⁵ В лекциях без названий 1907, 1910 и 1915 годов. См. Harper Papers, box 31, folders 8, 23, and 45. О пессимизме см. письмо Харпера Крейну от 23 мая 1906 года. Harper Papers, box 1. См. также [Harper 1912: 103].

¹¹⁶ Все цитаты в этом абзаце взяты из незаглавленной лекции в Harper Papers, box 32, folder 22.

неудачами, а затем поражением, конфликты проникли в города. Харпер сам наблюдал эти сотрясения страны в муках войны и революции. Как и другие американцы, восхищенные или испытывающие отвращение к революционной деятельности в России, для объяснения ее политических потрясений первых десятилетий XX века он использовал знакомый набор якобы русских черт характера.

Часть II

РЕВОЛЮЦИОННАЯ РОССИЯ, СТИХИЙНЫЕ РУССКИЕ

Глава 4

«Немногим лучше животных»

В начале 1905 года Сэмюэль Харпер, следуя желанию Чарльза Крейна иметь в штате ученого, погруженного в события в России, находился в российской столице Санкт-Петербурге. В воскресенье 22 января Харпер наблюдал за мирной демонстрацией рабочих во главе с отцом Георгием Гапоном. Множество рабочих несли изображения царя Николая II в его главную резиденцию, Зимний дворец. Протестующие просили царя – которого в тот день не было во дворце – улучшить условия труда, но были встречены стрельбой. Были убиты сотни верноподанных самодержца. Вместе с ними умерли не только их мольбы о лучшей жизни, но и надежды на мирное преобразование России. Харпер немедленно отправился в американское посольство в Санкт-Петербурге, где опросил сотрудников посольства и самого посла [Harper 1945: 27].

Кровавое воскресенье стало кульминацией нарастающей волны протестов в России. Волнения начались в русской деревне, которая с 1902 года сотрясалась от крестьянских беспорядков и погромов, затем распространились на города, поскольку война России с Японией привела к ухудшению положения в тылу. Русско-японская война началась в феврале 1904 года с внезапного нападения на российские военно-морские силы в Порт-Артуре. После этого первого поражения военные усилия России в основном пошли под откос, что быстро переросло в двойное фиаско для царского правительства на международной и внутривнутриполитической арене¹¹⁷. Ухудшение условий труда спровоцировало забастовки, особенно в политической и промышленной столице Санкт-Петербурге. Студенты университетов требовали изменений в образовательной и политических сферах, что приводило к частым закрытиям университетов. По сельской России распространились крестьянские волнения, чему способствовали группы социалистов-революционеров – эти радикалы, занимавшие крайнюю позицию на одной стороне шкалы революционных взглядов в России, были ориентированы на деревню. Социал-демократы, в их числе большевики, больше придерживались марксистского видения пролетарской революции. Все это время революционные группы усиливали свою террористическую деятельность, были убиты два подряд министра внутренних дел и члены царской семьи.

Эти столкновения резко расширились после Кровавого воскресенья. Собрание русских фабрично-заводских рабочих, которое организовало это шествие, едва ли можно назвать радикальным. На самом деле эта организация была основана как легальный правительственный инструмент для направления протестов рабочих в соответствующее лояльное и ненасильственное русло. Волнения усилились весной и летом, охватив все слои населения. Представители различных профессий и крестьяне присоединились к рабочим и радикальной интеллигенции в протесте против тяжелых экономических условий и ограничений в политической сфере. Волнения в сельской местности были сосредоточены на экономических проблемах, в которых после голода 1891 года не намечалось никаких улучшений. Набирающий силу Всероссийский крестьянский союз призывал к «земле и воле». Сотни спонтанных протестов на местах достигали этих целей, приводя к захвату земель помещиков. В июне к волнениям присоеди-

¹¹⁷ В основном использован материал из [Ascher 1988–1992; Verner 1990].

нились моряки, которые протестовали против ужасных условий – поводом послужило сообщение о борще, приготовленном из несвежего мяса – после чего началось восстание на броненосце «Потемкин». В 1905 году Портсмутский договор (штат Нью-Гэмпшир), благодаря которому президент Теодор Рузвельт получил Нобелевскую премию мира, положил конец внешней войне России против Японии, хотя внутренние войны в стране только усилились. Столкновения и забастовки продолжались и осенью. Действия правительства по успокоению протестов, в том числе обещание создать выборную Думу (парламент), не удовлетворили протестующих, потому что полномочия Думы были только консультативными, а не законодательными.

В октябре 1905 года, надеясь предотвратить всеобщую забастовку в Санкт-Петербурге, царь издал манифест и начал проводить фундаментальные политические и экономические изменения. Медленно и с перерывами продвигаясь к экономической реформе в 1905 и 1906 годах, царское правительство снизило процентные ставки и – что было наиболее радикально – отменило выкупные платежи, которые тяготили русских крестьян со времен отмены крепостного права. К 1907 году новые законы ввели обязательства для отдельных крестьян (а не для общины), нанеся смертельный удар по *миру* как административной единице. Манифестом от 17 октября царь постановил, что Дума будет обладать не только консультативными полномочиями. Изданные в мае 1906 года, накануне открытия первой Думы, «Основные государственные законы» конкретизировали рамки того, что могло бы стать конституционной монархией; однако они также устанавливали жесткие ограничения на деятельность Думы. То, что в правительстве давали одни нововведения, другие отнимали: первые две Думы заседали несколько месяцев, после чего они потребовали того, что царь довольно здраво счел необоснованными уступками. Императорский кабинет объявил перерыв в работе первой и второй Думы и еще больше ограничил избирательное право, чтобы гарантировать, что последующие парламенты будут более преданны режиму или, по крайней мере, более уступчивы. Таким образом, так называемый конституционный эксперимент в России породил надежды, не дав при этом значительных результатов.

Эти надежды в первую очередь ощущались в самой России, но не только. Американские наблюдатели за Россией, независимо от своих политических симпатий, использовали ситуацию в России, чтобы доказать свою точку зрения. Для консерваторов, таких как Изабель Хэпгуд, Теодор Рузвельт и посол Джордж фон Ленгерке Мейер, события в России продемонстрировали, что «варварские и неуправляемые» простые русские нуждаются в более строгой дисциплине¹¹⁸. Либералы, такие как Крейн, Харпер и их друг Милуков, увидели в протестах долгожданную возможность России вступить в ряды европейских демократий¹¹⁹. А радикалы, проживающие в Америке, как местные, так и иммигранты, пришли в восторг от возможности революции, которая превратит русскую деспотию в социалистическое государство. Социалистические писатели, такие как Уильям Инглиш Уоллинг, сразу же отправились в Россию в надежде услышать – и распространить – «послание России». Уоллинг также принимал у себя видных радикалов, таких как писатель Максим Горький, когда они приезжали в Соединенные Штаты [Saul 1996: 490–491, 564–566].

Однако, несмотря на разницу в политических взглядах, у большинства американских наблюдателей был общий набор представлений о России и ее населении, особенно о крестьянстве. Все они, независимо от того, выступали ли они за большую дисциплину или за большую свободу для русского народа, видели в крестьянах стихийную силу, движимую инстинктом, а не разумом. Таким образом, крестьян требовалось организовать, если не откровенно

¹¹⁸ Дневники Джорджа фон Ленгерке Мейера, 14 мая и 15 июля 1906 года. Подробнее о Рузвельте см. [Thompson, Hart 1970: 54–63].

¹¹⁹ Обратите особое внимание на переписанное заключение чикагских лекций Милукова, первоначально прочитанных в 1903 году (George von Lengerke Meyer papers, The Library of Congress).

приручить, чтобы оправдать разнонаправленные политические надежды американских наблюдателей. Таким образом, несмотря на все кардинальные изменения в России, американские наблюдатели применили знакомый набор инструментов для их интерпретации. Независимо от политической позиции, американские эксперты по России продолжали рассматривать события с точки зрения национального характера. Это не значит, что они разделяли одни и те же убеждения или питали одни и те же надежды. Однако это показывает, в какой степени оценки национального характера проникли в работы о России и ее жителях.

Консерваторы и защитники царского режима, описывая политические проблемы России, занимали, пожалуй, самую крайнюю позицию. Они считали крестьянство недостойным демократии и неспособным защищать свои интересы. Главными злодеями, конечно, были радикалы. Хэпгуд обвинила их в беспорядках, назвав их «безрассудными дегенератами <...> приводимыми в действие просто безумными амбициями». Они «вынуждали» рабочих участвовать в саморазрушительных протестах. Она противопоставила радикалов русским крестьянам, которые демонстрировали простодушие и глубоко укоренившуюся любовь к земле. (Связь между радикализмом и отсутствием корней часто принимала антисемитский оттенок; особенно это проявлялось у американских консерваторов, но не только у них.) Крестьяне не просто любили землю, но и были ею сформированы. Топография местности и климат создали в них «сочетание спазматической энергии и отвращения к деятельности». Эти резкие колебания в настроениях и активности, по предположению Хэпгуд, были причиной нынешнего кризиса. Простые русские, «сбитые с ног» как «реальными ошибками», так и «ошибочными» идеями, не обладали ни здравым смыслом, ни логикой [Hargood 1906: 647–648, 661]. Только при правильном руководстве и контроле, заключала Хэпгуд, Россия могла восстановить личную и политическую стабильность. Она верила, что у царя есть люди, способные обеспечить такое руководство. Например, она высоко оценила С. Ю. Витте, недавно назначенного на пост председателя Совета министров, как человека настолько компетентного и амбициозного, что он казался «почти американцем» [Hargood 1905: 162]. Эта мысль во многом повторяется в трудах Альфреда Рамбо, хотя и в контексте полного осуждения парламентской демократии. Подобно американским консерваторам, Рамбо утверждал, что массы неспособны к самоуправлению [Rimbaud 1905: 663]. Те, кто опасался всеобщей демократии в своих странах, выразили повышенные опасения по поводу демократии в России.

Другим путем пошел давно ушедший в отставку с дипломатической службы Эндрю Диксон Уайт – он сосредоточился на покорности крестьян. Он описал военные и политические последствия пассивности России, которую он отметил ранее, назвав крестьян, служащих в армии, «тупым загнанным скотом <...> зачастую преданным, но всегда невежественным» [White 1905b: 8–9]. Уайт распространил эту коровью метафору на политическую сферу в смелом, но ошибочном предсказании: «крестьянство лишь немногим лучше животных. Было бы столь же разумно ожидать, что дикий скот на равнинах взбунтуется против пастухов, как и ожидать, что русские крестьяне восстанут против аристократии». Описывая тех простых русских, которые протестовали против условий своей жизни, Уайт напоминал Хэпгуд, утверждавшую, что они плохо подготовлены к демократии. Их слепая преданность царю, проявленная во время акции протеста в Кровавое воскресенье, продемонстрировала их низкий «умственный уровень» [White 1905a: 733–734]. Основная масса населения России оставалась «в неведении относительно всего того, что желательно знать людям, которым нужно участвовать в самоуправлении». При достаточном образовании и дисциплине демократия все же может возникнуть в России, и это маловероятное событие потребует «длительного и бурного» переходного периода¹²⁰.

¹²⁰ White A. D. Prospects of Freedom in Russia. Lecture given 11 January 1906. Andrew Dickson White Papers, reel 147, pp. 3, 8–9.

Американский посол в Санкт-Петербурге Джордж фон Ленгерке Мейер, несмотря на свою личную неприязнь к Уайту, согласился с оценкой своего предшественника в отношении России¹²¹. Мейер, который познакомился с Кулиджем в колледже и всю жизнь с ним соседствовал, так же, как и этот гарвардский историк, имел бостонские аристократические корни. В 1890-х годах он занимал руководящие посты на местном уровне, после чего сфера деятельности Мейера расширилась. До переезда в Россию в 1905 году он занимал пост спикера Палаты представителей штата Массачусетс и посла в Италии; среди более поздних его должностей: управляющий почтой и министр военно-морского флота¹²². Мейер описывал русское крестьянство со снисходительностью и некоторым раздражением. С момента своего первого приезда в Санкт-Петербург в свои описания русских он вплетал упоминания их незрелости и варварства. В том же смысле он понимал восстания 1905–1906 годов, объясняя, что русские никогда не смогли бы инициировать настоящую революцию: «Они не были устроены таким образом. Они накаляются, затем наступает несколько разгульных дней, и после того, как действие водки [*sic!*] проходит, их активность снижается»¹²³. Летом 1906 года он пришел к выводу, что крестьяне, «восстав и проявляя недовольство, ведут себя как животные без какого-либо здравого смысла или причины»¹²⁴. Хотя Мейер в этих жестоких проявлениях революционных настроений винил свойственный народу характер, он не считал русских ответственными за свои действия. Главная вина, писал он, лежит на государственных бюрократах, которые «воображали, что они могут продолжать управлять 100 000 000 крестьян, оставляя их необразованными и живущими почти как животные». Аналогично он рассматривал Русско-японскую войну как моралите не только о людях, но и о правительствах: «Образование, хорошее правительство и свобода всегда побеждают невежество, неправильное правление и деспотизм»¹²⁵. И в Русско-японской войне Россия явно представляла сторону деспотизма.

Джордж Кеннан извлек из этой войны несколько иную мораль. Подчеркивая ответственность правительства за недостатки характера, Кеннан выразил надежду, что русские сбросят самодержавие и выполнят обещание, заложенное в их характере. Его новый интерес к России возник после вынужденного академического отпуска. Российское правительство запретило Кеннану въезд в страну после его провокационных работ и лекций о системе сибирской ссылки, которые, по-видимому, побудили Марка Твена заявить: «Если динамит – единственное средство против таких условий [ссылки], то слава Богу, что у него есть динамит!»¹²⁶ Вместо этого Кеннан решил посетить Корею, Японию и Кубу и написать о них. В своих путевых заметках он обычно сводил культуры к нескольким стереотипам, а затем переходил к «длинному списку пороков или недостатков». Он грубо оскорбил каждую из этих культур за отсутствие у них способностей, самоконтроля, мужественности или всего вышеперечисленного¹²⁷. По мере того как география его путешествий расширялась, его убеждения о характере несколько поистрепались, но в целом он был им верен. Характер по-прежнему оставался для Кеннана основным понятием.

С началом Русско-японской войны у Кеннана появилась возможность вернуться к теме индивидуального и национального характера, с чего и началась его карьера. Как и в своем разоблачительном материале о Сибири, Кеннан хотел продемонстрировать недостатки Российской империи. Однако, выдвигая обвинение против России, он не только раскрыл свои

¹²¹ Мейер написал одному другу, что считает Уайта «человеком сильно переоцененным и не обладающим особым тактом» (письмо судье Фрэнсису С. Лоуэллу от 19 февраля 1906 года). См. в [DeWolfe Howe 1920: 258].

¹²² О его общении с Кулиджем см. в [Byrnes 1982: 129; Wiegand 1988: 6].

¹²³ Мейер Генри Кэботу Лоджу, 9 июля 1906 года. Цит. в [Wiegand 1988: 114].

¹²⁴ Meyer Diary, 15 July 1906.

¹²⁵ Ibid. 15 July 1906 and 30 May 1905.

¹²⁶ Цит. по: [Travis 1990: 178].

¹²⁷ См. [Kennan 1899a: 962; Kennan 1899b: 1016; Kennan 1905: 411, 413].

политические взгляды; он также дал подробное определение двух основных концепций, определяющих его взгляд на мир и его народы. Он описывал эту войну как битву между «цивилизованной» Японией и «полуварварской и средневековой» Россией, практически переворачивая традиционную ассоциацию азиатских народов с варварством – и проводя близкую параллель с мыслями, описанными в личных материалах Мейера. В статье под названием «Что есть цивилизованная власть?» Кеннан определил семь критериев цивилизации, начав с «умственной и моральной культуры». Затем он перечислил ряд общих критериев, таких как религиозная терпимость и уважение к закону, а потом снова обратился к проблемам характера, таким как «индивидуальное и национальное развитие в личных добродетелях, которые могут быть описаны как характеристики джентльмена (скромность, мораль, гуманность и справедливость)». Статья звучит как обвинение правительству и народу России; по каждому из семи критериев Кеннан считал Россию несоответствующей [Kennan 1904: 519, 515]. Во время и после Русско-японской войны он более симпатизировал японцам, чем жителям Восточной Европы, особенно тем, кто эмигрировал в Соединенные Штаты. Он так выразил свое недовольство президенту Рузвельту: «...мы принимаем самые низкие, самые невежественные и самые деградировавшие классы из Восточной и Юго-восточной Европы <...> но мы предлагаем не допускать <...> народ трезвый, трудолюбивый, аккуратный, чистый, нравственный и хорошо образованный [то есть японцев]. Это настолько иррационально, что кажется нелепым». Показатель цивилизованности для Кеннана сильно зависел от индивидуальных действий и индивидуального характера. Поведение отдельных людей определяло уровень цивилизации страны¹²⁸.

Кеннан с готовностью критиковал многие аспекты русского характера в том же духе, что и кубинский или корейский характер. Русские крестьяне, писал он, были «грубыми и неотесанными», подобострастными и нечистыми. В материалах Кеннана необычайно много вырезок из газет и журналов о русском характере, что свидетельствует о его зависимости от предыдущих интерпретаций, в том числе от таких ученых, как Леруа-Больё. Он добросовестно записывал свидетельства пассивности, покорности, готовности русских страдать, склонности к объединениям (до такой степени, что «сильно граничит с коммунизмом», как он отметил в 1901 году) и суевериям. Как и Юджин Скайлер в 1870-х годах, Кеннан выдвинул идею о том, что одним из критериев цивилизованности является обращение с женщинами; он предположил, что «участь славянских женщин улучшается по мере отдаления от восточного варварства и приближения к западной цивилизации»¹²⁹. Но его идеи отличались от идей некоторых консерваторов тем, что он часто обращал эти недостатки характера против российского правительства. Объявив себя – несмотря на эти критические замечания – «другом русского народа», Кеннан возложил вину за коллективные неудачи русских на правителей страны [Kennan 1904: 520]. Он также отметил, в какой степени эти недостатки ограничивают жизнь страны.

Либералы, такие как Сэмюэль Харпер, в обвинениях российского государства пошли дальше Кеннана. Находившийся во время волнений 1905 года в Санкт-Петербурге, Харпер, по крайней мере во время своего пребывания в России, уделял много внимания изучению борьбы за демократию среди либеральных интеллектуалов, таких как Милюков. В Кровавое воскресенье и во многих других случаях Харпер выполнял роль неофициального информатора посольства – держал в курсе событий его сотрудников, в то же время отказываясь от должности

¹²⁸ Кеннан Рузвельту, 1 апреля 1905 года. George Kennan Papers (LC), box 5.

¹²⁹ Характеристики природы русских кажутся относительно неизменными в этот период карьеры Кеннана, что показано в его переписке: Кеннан Дрейку, 2 июня 1885 года. Kennan Papers (LC), box 6; Кеннан к миссис Джексон, 20 февраля 1905 года. Kennan Papers (LC), box 7; Кеннан Лаймону Эбботу, 8 мая 1914 года. Kennan Papers (LC), box 8. См. также [Kennan 1897: 496]. Тематические папки по русскому характеру, с примечаниями Кеннана, см. в Kennan Papers (LC), box 95. Цитируются материалы от 6 мая 1911 года, 2 марта 1901 года и 27 ноября 1893 года. В этих папках также содержатся заметки Кеннана о Леруа-Больё.

секретаря. Эта неформальная и неофициальная роль станет впоследствии его нишей [Harper 1945: 27, 44]¹³⁰.

В годы, последовавшие за беспорядками 1905 года, из-под пера Харпера выходил целый поток информативных статей. В работах Харпера, больше похожих на описание, чем на анализ, подробно рассказывалось о нюансах российского избирательного законодательства, составе Думы и политических интригах. С его непоколебимой верой в светлое будущее России Харперу удавалось интерпретировать любое, даже самое реакционное событие как благоприятное для дела российского либерализма. Например, когда первая Дума (1906) распалась, просуществовав всего десять недель, Харпер взволнованно наблюдал за кратким и безуспешным протестом, последовавшим за роспуском Думы. Даже в этом провале он нашел повод для надежды: либералы в конечном счете должны одержать верх¹³¹.

Созванную в марте 1907 года вторую Думу постигла та же участь; всего лишь через три месяца заседаний царь ее распустил. В статье для «The World Today» Харпер перечислил новые ужесточения – например, лишение избирательных прав рабочих, и новые ограничения на дебаты в Думе, – а затем предсказал (очень точно) растущее раздражение самодержавием. Но даже здесь он нашел много поводов для радости: в первую очередь появление Конституционно-демократической партии (кадетов), быстрый взлет которой затмил падение самой Думы [Harper 1907b: 696]. Новые ограничения на избирательное право, введенные после роспуска второй Думы, не оставляли места для оптимизма; возможно, по этой причине Харпер решил написать об этом в экзегетическом, а не аналитическом ключе [Harper 1908c]. Рассуждая в русле диалектического материализма, Харпер даже смог сохранить хороший настрой в период все более реакционной политики 1907 и 1908 годов. Такая политика, писал он, усилит ощущение того, что необходимы более фундаментальные изменения [Harper 1908a: 156; Harper 1908b: 9802]. Харпер оставался оптимистом и, ссылаясь на зародышевую теорию демократии, столь влиятельную в американской политической науке XIX века, утверждал, что «Россия обладает <...> живым зародышем всей политической эволюции». В то время как большинство пишущих в этом ключе американских ученых искали корни американской демократии в германских крестьянских общинах, сформировавшихся в туманных тевтонских лесах, Харпер предложил славянский вариант этого довода [Harper 1910: 163; Ross 1984: 919–926].

Харпер редко откровенно высказывался о том, на чем основаны его большие надежды на Россию – возможно, потому что эти основания были крайне незначительными. В отличие от Уайта и других консерваторов, он утверждал, что некоторые врожденные качества русских могут способствовать процветанию демократии. Но он также отличался от русских либералов, таких как Милюков. В то время как этот русский интеллектуал отстаивал демократию в универсалистском понимании, Харпер придерживался своих партикуляристских взглядов: демократия в России возникнет из ее собственных уникальных черт.

Оптимизм Харпера также отличался от оптимизма его политических союзников. Если Милюков полагал, что в конечном итоге рациональные действия приведут к установлению политического либерализма, то Харпер свои надежды на русскую демократию основывал на собственном понимании национального характера. Давно считая, что русскими правят эмоции и импульсы, а не разум, Харпер верил в демократический инстинкт русских. Его надежды на либеральную демократию в России подпитывались желанием крестьян, выраженным лишь в виде «полубессознательных идей», установить новый политический порядок [Harper 1907a: 1116]. Таким образом, либеральные представления о новой России основывались на побуждениях инстинкта, а не на преднамеренных действиях. Даже будучи неспособны к разумным

¹³⁰ О других встречах в посольстве см.: Харпер дорогому народу, 5/19 января 1905 года. Samuel Northrup Harper Papers, box 1; Meyer Diary, 21 April 1906.

¹³¹ Харпер Итону, 24 июля 1906 года. Harper Papers, box 1.

и сознательным действиям, либералы-крестьяне инстинктивно тянулись к демократии. В отличие от консерваторов, которые видели в русских крестьянах величайшее препятствие на пути прогресса России, либералы возлагали на них свои надежды.

Крестьян считали центральным элементом будущего России не только либералы, но и многие американские радикалы. Трое самопровозглашенных «джентльменов-социалистов», Уильям Инглиш Уоллинг, Артур Буллард и Эрнест Пул, своими глазами наблюдали важнейшие события неудавшейся революции. Также именно они в значительной степени освещали происходящее с места событий для американских журналов [Thompson, Hart 1970: 37]. Эта группа состоятельных и хорошо воспитанных радикалов различалась по стилю своих репортажей, но все трое сходились на одной мысли – надежде о будущем Российской империи, которую все они возлагали на крестьянство. Они были безнадежно пристрастны и отличались любительским подходом к России, потому как полагались на свой личный опыт, а не на тщательное исследование. Интерес этой троицы к России пробудила Революция 1905 года.

Подобно славянофилам 60 годами ранее и эсерам той эпохи, эти американские социалисты отводили главную роль в определении политического и экономического будущего России крестьянину. Аналогичным образом они хотели, чтобы Россия воспользовалась своей отсталостью, найдя путь к развитому социализму, который не проходил бы через промышленный капитализм. Эти взгляды, хотя они ни в коем случае не доминировали среди американских интеллектуалов, тем не менее составляли важный элемент научных представлений в годы, предшествовавшие Первой мировой войне.

Реформистские порывы Уоллинга начались в тот период, когда он был студентом Чикагского университета. Возможно, его воодушевил бунтарски настроенный научный руководитель Торстейн Веблен. Окончив колледж в возрасте 19 лет, Уоллинг поступил в аспирантуру в своей альма-матер, а затем – в Гарвардскую юридическую школу. В 1901 году, в возрасте 24 лет, Уоллинг переехал в университетское поселение в Нью-Йорке, место сбора прогрессивных реформаторов и радикалов из Гринвич-Виллидж. Его первоначальный интерес к России возник, когда он работал с русскими иммигрантами, в первую очередь евреями, в университете и около него. Вдохновленный усилением протестов после Кровавого воскресенья, Уоллинг вместе с Артуром Буллардом уехал в Санкт-Петербург. Большую часть следующих двух лет они путешествовали вдвоем по России, брали интервью у революционеров (в том числе у В. И. Ленина и Л. Д. Троцкого), крестьян, рабочих и интеллектуалов. Уоллинг хвастался своим родителям, что «нет больше никого, кому вся Россия была бы настолько открыта»; он особенно гордился своими контактами с революционерами, которые, по его словам, рассказывали ему «то, что больше никому не говорят»¹³². Он также имел сомнительную честь быть одним из немногих экспертов по России американского происхождения, которые лично познакомились с российскими тюрьмами: в 1907 году он и его жена русского происхождения Анна Струнская Уоллинг были арестованы по обвинению в «подозрении в революционной деятельности»¹³³.

Свой опыт Уоллинг сначала изложил в серии статей в «The Independent», а затем в книге 1908 года «Послание России». Эти труды показали то, что один историк справедливо назвал «почти мистической» преданностью русскому крестьянству [Gilbert 1972: 209]. Уоллинг изобразил русское крестьянство как в буквальном смысле спасение России. Особенно воодушевленный *миром*, он провозгласил, что общинная организация скоро породит в России новое общество – общество, основанное на элементах социального единства и политической и экономической демократии, которые (по мнению Уоллинга) лежали в основе *мира*. Его первоначаль-

¹³² Письмо Уоллинга своим родителям от 29 января 1906 года. Цит. по: [Stuart 1968: 36].

¹³³ Н. И. Стоун в [Walling 1938: 61, 64–65]; также статья Струнски в [Walling 1938: 7–8, 10–11]. См. также [Boylan 1998, chap. 22].

ный энтузиазм был основан не на заинтересованности крестьян, а на крестьянском инстинкте. Общинные принципы, писал он, были «частью самой крестьянской души». Уоллинг также отмечал пацифизм крестьян, который он считал прямым результатом пассивности, а не осознанной антивоенной позиции. Независимо от того, коренилась ли крестьянская общинность в менталитете или в душе, безусловно, она не исходила от разума [Walling 1908: 329, 163, 260].

Как бы Уоллинг ни был воодушевлен крестьянским инстинктом, еще большие надежды он возлагал на крестьянскую неиспорченность. Он прямо выступал против господствующих представлений о крестьянской отсталости, лени и невежестве. В «Послании России» есть глава, названная «Русский народ: его истинный характер», в которой утверждается, что социализм соответствует «психологии народа». Еще одну главу он посвятил перечислению чрезмерно негативных взглядов других авторов на крестьянство. Уоллинг обрушился на Леруа-Больё за утверждение, что русский характер полностью сформирован и является нежелательным. Напротив, Уоллинг настаивал на том, что русские еще не сформировали свой характер и все еще восприимчивы к внешнему воздействию:

Настоящий характер крестьянина остается загадкой до сегодняшнего дня. Он представляет собой величайший неизвестный элемент белой расы. <...> Если его природа остается неразвитой, она в той же мере остается незакрепленной и неиспорченной – другими словами, это природа обычного человека [Walling 1908: 152].

Уоллинг надеялся превратить незаконченную человечность России в будущий идеал. В том, что другие считали главным проклятием России, – в отсталости – Уоллинг видел ее главное благословение. В отличие от развитых стран, застрявших «в рамках материальных и политических условий, установленных каким-то давно умершим поколением», Россия была «сравнительно свободной». В результате эта страна могла бы развивать свои собственные формы социальной и политической организации. Эти формы не включали ни коммерческую систему, которую Витте стремился навязать России, ни законодательную систему, которая в то время активно обсуждалась; капитализм и парламентская демократия не были подлинно русскими [Walling 1908: 3]¹³⁴.

Большинство рецензентов «Послания России» резко не согласились с оптимистичным взглядом Уоллинга на русское крестьянство. Один из них обвинил Уоллинга в «пренебрежении историческими фактами», в то время как второй настаивал на том, что его взгляды следует воспринимать с «долей хорошего скептицизма». В свою очередь, рецензент «The Nation» согласился с мнением Уоллинга о крестьянстве, назвав его «девственным материалом для перестройки <...> России»¹³⁵. Различные американские взгляды на будущее России вращались вокруг различной роли русских крестьян. Но разве американские взгляды на самих крестьян между собой различались?

Несмотря на гневные утверждения об обратном, взгляды Уоллинга в отношении России во многом совпадали со взглядами Леруа-Больё. Он также подчеркивал пассивность и фатализм русских. То, что другие называли апатией, Уоллинг называл «пассивным бунтом». Как и те, кого он критиковал, Уоллинг принял идею крестьянской инерции, сходясь с Леруа-Больё во мнении о русском фатализме и терпении. Правда, Уоллинг и Леруа-Больё по-разному видели корни русского характера. Вторя оптимизму таких авторов, как Кеннан, Уоллинг настаивал на том, что такие черты характера являются «временным результатом угнетения», последствиями навязывания «чуждым правительством». В свою очередь, Леруа-Больё приписал «варварство» русского поведения врожденным чертам характера [Walling 1908: 145–148,

¹³⁴ См. также [Walling 1914: 276–277].

¹³⁵ Рецензии (все анонимные) в: Independent. 1908. 10 September. Vol. 65. P. 611; Russia in Revolution // NYT Saturday Review of Books. 1908. 25 July; Outlook. 1908. 1 August. Vol. 89. P. 765; Nation. 1908. 8 August. Vol. 87. P. 121.

210, 154, 152; Walling 1906: 1317–1318]. Не желая напрямую указывать ни одного источника этой оккупационной силы, Уоллинг описал российскую монархию как «наполовину азиатскую, наполовину немецкую структуру». Учитывая, что русское варварство было импортировано (либо с Востока, либо с Запада), демократия могла возникнуть после изгнания иноземцев. Оптимисты и пессимисты разделяли одну и ту же оценку русских крестьян.

Через несколько лет после того, как Уоллинг вернулся из России, его любовь к крестьянству начала ослабевать. Постепенно он разочаровывался в пассивности крестьян. На него все большее влияние оказывала марксистская мысль: в 1910 году он вступил в Социалистическую партию Америки и стал обсуждать Россию с Гурвичем. Оптимизм Уоллинга угасал пропорционально его прокрестьянским настроениям. К 1912 году его разочарование изменило его взгляд на русскую политическую жизнь:

...всеобщая забастовка 1905 года в России <...> могла бы привести к гораздо большим и более прочным результатам, если бы крестьяне были достаточно возмущены и достаточно умны, чтобы разрушить мосты и пути, и нет сомнений в том, что социалисты в деревнях, состоящие в основном из рабочих, сделали бы это в такой кризис [Walling 1912: 390].

Поэтому Уоллинг, как и многие другие социалисты, стал сомневаться в способности крестьянства действовать правильным революционным образом. Только рабочие, утверждал он, могли бы спасти революционное движение [Walling 1908: XII]. Был ли он вдохновлен революцией или разочарован, свои представления о России Уоллинг основывал на крестьянстве.

«Пламенное рвение» Уоллинга по отношению к России повлияло на тех, кто был рядом с ним. Как вспоминал один из его друзей, он превратил всех их в революционеров. Ярким примером этого был его попутчик Артур Буллард. Происходя из менее успешной, но столь же аристократической семьи, Буллард – предки которого переехали в Северную Америку в 1639 году – поддерживал Уоллинга не только при выборе маршрута. Как и его товарищ по путешествию, Буллард верил, что крестьянство создаст новую Россию. Свободный от мистицизма Уоллинга, Буллард тем не менее смотрел на крестьян с надеждой и снисходительностью. На собственном опыте – их мало заботили абстракции – крестьяне выработали свою собственную социалистическую восприимчивость. Их знание демократии, конкретной, местной и социально разнообразной, было врожденным и имело мало общего с формальными политическими или экономическими теориями¹³⁶. Таким образом, его вера в крестьян коренилась скорее в их инстинктах, чем в их способности к рациональным действиям.

Идеи Уоллинга также нашли отражение в трудах романиста Эрнеста Пула. Пул, который позже получил первую Пулитцеровскую премию за художественную литературу, выступал скорее в роли секретаря, чем журналиста, когда писал о России. Работая прогрессистским журналом в Чикаго и Нью-Йорке, он освещал различные дела левого толка, писал о забастовках, ночлежках и других благотворительных учреждениях (где он встретил Уоллинга) и подобных темах. Позже Пул вспоминал, что после смерти матери он «отчаянно хотел чего-то нового, над чем можно было бы работать <...> и нашел это в России». Пул отправился в Санкт-Петербург вскоре после Кровавого воскресенья. Оказавшись там, он выдал себя за продавца обуви и разослал свои статьи, вложив их в сообщения об обувном предприятии, чтобы избежать цензуры. Так началось то, что Пул назвал «чарующим приключением в дикой, странной и глубокой России»¹³⁷.

Возможно, из-за того, что Россия показалась ему такой необычной, Пул написал большую часть своих репортажей в форме рассказов от первого лица людей, с которыми он

¹³⁶ Говард Брубейкер в [Walling 1938: 35]. См. также [Bullard 1907: 196–198]; Письмо Уоллинга отцу от 24 ноября 1906 года. William English Walling Papers, box 1.

¹³⁷ См. [Poole 1940: 85, 103, 113, 124; Keefe 1966: 33–34]. См. также Э. Пула в [Walling 1938: 27–28].

встречался, – как правило, без анализа или даже указания контекста со стороны автора. Он беседовал со студентами университетов, рабочими, крестьянами и солдатами, а также с евреями и представителями других национальных меньшинств. В 13 из 14 своих рассказов от своего лица Пул в общей сложности написал, возможно, всего дюжину предложений; только в одном рассказе его слов больше, чем текста в кавычках¹³⁸. Пула особенно впечатлили революционеры. Он с нежностью вспоминал «отважных соплеменников», которых он встречал среди кавказских революционеров, и медленно разгорающийся гнев колеблющихся революционеров, которые примкнули к этому движению только из-за того, что наблюдали, как друзья и члены семьи страдают от рук полиции. Идея революции так пленила Пула, что он начал видеть ее сторонников повсюду; по крайней мере в двух подписях к фотографиям русских детей были упоминания «революционеров в зародыше» [Poole 1906: 7; Poole 1905a: 497].

Пул не только глубоко проникся романтикой революции, но, так же как и Уоллинг, поддался влиянию трепетного чувства к крестьянству. На мысль об этом его настроении наводит один эпизод в его автобиографии, который также отражает подход джентльменов-социалистов к России. Путешествуя по сельской России, Пул вступил в спор со своим переводчиком о природе русского крестьянства. Переводчик настаивал на том, что крестьяне демонстрируют практичное и даже «прозорливое» поведение. Пул, однако, вкладывал в их поведение более мистический смысл: «В них есть что-то более глубокое, чем просто [практичность], эти русские загадочны, как Дальний Восток» [Poole 1940: 311]. Сам факт, что Пул пользовался услугами переводчика, прежде всего подчеркивает ограниченность его языковых познаний. Однако в то же время он много путешествовал по деревням, что свидетельствует о масштабах его опыта в России. Что наиболее важно, Пул, подобно Булларду и Уоллингу, видел в русских крестьянах не просто земледельцев, но и христианские символы возрождения: они избавят Россию от ее нынешних бед благодаря своей простой доброте и правильным инстинктам. Их страдания скорее обогородили их, чем ожесточили.

Прокрестьянские взгляды этих американских социалистов еще более поразительны, если сравнить их со взглядами социалистов русского происхождения, таких как Гурвич и Симхович, которые резко критиковали потенциал крестьян. События 1905 года Гурвич не просто анализировал издали, но даже принял в них участие: воодушевленный признаками политической либерализации, он вернулся в Минск и баллотировался в первую Думу. Хотя он победил на выборах, борьба между двумя левыми партиями лишила его места; вскоре он вернулся в Соединенные Штаты и начал работать правительственным статистиком в Вашингтоне [Epstein 1965: 259–260]. В его работах о революции, как и в работах о голоде, подчеркивалась политическая борьба против становящегося все более репрессивным самодержавия. Тем не менее Гурвич выразил разочарование непоследовательностью крестьянских протестов, в которых он обвинил неграмотность и «ограниченный интеллект» сельских жителей России [Hourwich 1906: 868]. Симхович был с этим согласен. Он обратил внимание на «невежество крестьянства» как на «краеугольный камень и фундамент» российского государства. События 1905 года, писал он позже, были возможны только потому, что – впервые – «крестьяне начали думать» [Simkhovitch 1906: 570–571, 595]. Другие работы Симховича в первые годы века показывают, что его прежний агностицизм в отношении национального характера исчез. Одна из его статей была основана на концепции русского «византизма», согласно которому соприкосновения России с Востоком сделали ее отличной от других славянских народов не только своей историей, но и своей структурой. Русские, писал он в 1905 году, «более ленивы, более фаталистичны, более послушны власти, более добродушны, более безрассудно храбры [и] более непоследовательны», чем другие славяне [Simkhovitch 1905: 274]. Новый акцент Симховича на специфически русских чертах указывает, что он отказался или по крайней мере

¹³⁸ См., например, [Poole 1905b; Poole 1905c].

умерил свою надежду на то, что Россия пойдет по тому же историческому пути, что и другие страны.

За скептицизмом этих марксистов-эмигрантов стоял русский крестьянин, знакомый не только консерваторам, которые придерживались глубоко антироссийских и антикрестьянских взглядов, но и тем, кто разделял мистический энтузиазм американских социалистов. Уоллинг понимал крестьянскую пассивность как спокойствие и пацифизм – по крайней мере в начале своей карьеры. И он видел в крестьянской иррациональности инстинкт, который заставит Россию соответствовать себе и своему характеру. Соглашаясь с Леруа-Больё по поводу недостатков поведения русских, Уоллинг и его соотечественники сделали прямо противоположные выводы. Одно из главных различий выражалось в спорах о происхождении этого поведения: оптимисты надеялись, что свержение российского самодержавия позволит русской природе расцвести как на индивидуальном, так и на государственном уровне. Другие аналитики, напротив, рассматривали российское правительство как воплощение русского характера.

Американские наблюдатели, будь то либералы или консерваторы, работающие журналистами, дипломатами или учеными, все сходились во мнении о характере поведения русских крестьян. Когда в 1890-х годах мнение американских экспертов о России начало проникать в академические институты, за ними последовали и представления о русском характере. Научный интерес к России по-прежнему был незначителен даже после потрясений 1905 года. Призыв Кулиджа 1895 года к расширению исследований в этой области, по-видимому, остался без внимания. Американские ученые, изучающие Россию, выпускали мало существенных материалов. Несколько статей написал Симхович, чей вклад был наибольшим, а Харпер и Кулидж опубликовали лишь по одной журнальной статье. Только в «Annals of the American Academy of Political and Social Science» России было уделено сколько-нибудь значительное внимание, но лишь немногие статьи были написаны американцами. В сборник эссе о России, изданный накануне 1905 года, входила работа только одного автора американского происхождения из пяти, и в ней описывались славянские иммигранты в Соединенных Штатах¹³⁹. Учитывая скудность публикаций русистов, многие признанные любители, такие как Уоллинг, влились в сообщество экспертов. Харпер, например, часто рекомендовал книгу Уоллинга «Послание России» тем, кто хочет больше узнать об этой стране¹⁴⁰.

Даже начав работать в университетах, американские эксперты по России не отказались от прежних представлений об отличиях России от Европы и Соединенных Штатов. И Харпер, и Кулидж в своих работах о внутреннем устройстве страны опирались на русский национальный характер, чтобы объяснить политическую отсталость России. Хотя социалисты, такие как Уоллинг, придерживались более позитивных взглядов на крестьян, они тоже разделяли представления о крестьянском фатализме и терпении. В то же время расширились контакты между учеными и дипломатами. Харпер получил несколько приглашений присоединиться к сотрудникам посольства в Санкт-Петербурге. Связи Кулиджа вращались вокруг поредевших резиденций бостонской аристократии, таких как посол Мейер.

Такие личные связи вскоре будут дополнены и в конечном итоге вытеснены новыми институциональными и профессиональными контактами. Во время Первой мировой войны и Харпер, и Кулидж возьмут на себя государственные обязанности, чему поспособствуют гибкость их академических позиций и желание их университетов внести свой вклад в военные усилия. Журналисты, освещавшие события в России, также занимали во время войны государственные должности, но в основном в информационных службах. Независимо от своего

¹³⁹ Среди авторов «Дела России» были Альфред Рамбо, Ж. Новиков, Питер Робертс, Гурвич и Симхович. Все работы, кроме эссе Рамбо, ранее вышли в «International Monthly» или его преемнике «International Quarterly».

¹⁴⁰ См., например, письмо Харпера Джону Р. Мотту от 1 мая 1917 года. Harper Papers, box 4.

пути на государственную службу, американские эксперты несли с собой давние представления о русском характере.

Глава 5

Овцы без пастуха

В 1918 году, размышляя о бурных событиях в России, филантроп Чарльз Крейн высказал президенту Вильсону мысль, что для объяснения недавних событий знаний о старой России уже недостаточно. «Любое понимание предыдущего состояния, – писал он, – мало помогает в интерпретации настоящего»¹⁴¹. Как-никак в прошлом году были провозглашены две новые России. В феврале на место ослабленного самодержавия пришло либеральное Временное правительство; восемь месяцев спустя это правительство в свою очередь было свергнуто, и большевики провозгласили советскую власть. С этого момента события стали происходить уже не просто внезапно, а хаотично. В январе 1918 года большевики в срочном порядке распустили надлежащим образом избранное Учредительное собрание, после чего активизировались многочисленные антибольшевистские организации. Революция быстро переросла в войну на нескольких фронтах, во время которой большевики контролировали центральную Россию, но подвергались нападениям со всех сторон: адмирал Колчак и другие – с востока, генералы Врангель и Деникин, а также донские казаки генерала Каледина – с запада, и многонациональные силы союзников – с севера. Те, кто не служил в армии, тоже внесли свой вклад в беспорядки 1917 года: террор, захваты земель и бандитизм стали повсеместными. Американское правительство поддерживало многие из этих армий, предоставляя продовольствие, оружие, финансирование, а иногда даже солдат; британское и французское правительства аналогично финансировали ряд антибольшевистских сил¹⁴².

Вопреки совету Крейна, американские эксперты, пытаясь разобраться в бедламе революционной России, полагались на знакомый набор представлений о русском национальном характере. Главной среди этих идей было представление о том, что русские скорее инстинктивны, чем рациональны. В пьянящие дни весны 1917 года вера в демократический инстинкт русских предоставляла готовое объяснение быстрому концу правления Романовых. Позже, летом и осенью, менее привлекательными аспектами русского характера – иррациональностью, эмоциональностью, недостатком интеллекта – стали объяснять растущую волну радикализма. Американские официальные лица вторили идеям экспертов, используя при разработке американской политики в отношении России формулировки и логику представлений о национальном характере. Политики и эксперты согласились, что русские неспособны заботиться о своих интересах и поэтому требуется доброжелательное вмешательство от их имени. Однако, как и ранее, от этого обобщения эксперты освободили небольшую группу элиты; воззвание к русским толпам и массам еще больше подчеркнуло иррациональность простых русских. Также частичное исключение было предложено для Сибири, жители которой были охарактеризованы как более способные к самоуправлению, чем другие русские.

Если во время революций и последовавшей Гражданской войны (1917–1920) содержание американских экспертных знаний о России кардинально не изменилось, то их форма и применение трансформировались. Мнения экспертов по России в беспрецедентных масштабах распространились среди дипломатов всех рангов, в высших эшелонах Госдепартамента и даже в Белом доме. Никогда еще узкоспециализированные знания о России так высоко не ценились в Вашингтоне: политики интересовались мнением Сэмюэля Харпера, Арчибалда Кэри Кули-

¹⁴¹ Крейн Вильсону, 1 августа 1918 года. См. в PWW, 49:154.

¹⁴² В этой главе невозможно настолько детально рассказать об американско-российских отношениях, как они описаны в других исторических трудах. Среди недавних работ по этой теме: [Saul 2001; Foglesong 1995; McFadden 1993]. По-прежнему имеет непреходящую ценность [Kennan 1956–1958]. При рассмотрении представлений американских интеллектуалов о революционной России обратите особое внимание на [Lasch 1962].

джа, Уильяма Инглиша Уоллинга и других. Тесные контакты между экспертами и дипломатами означали, что эта общая интеллектуальная структура функционировала в качестве реального посредника между знаниями и властью – в ходе брифингов, совместных обедов и чаепитий в Вашингтоне, Нью-Йорке, Петрограде, Москве и в других местах.

Профессиональные контакты были значительно подкреплены личными связями, большинство из которых в какой-то момент вернулись к Чарльзу Крейну. Президент Вильсон часто обращался к нему, чтобы посоветоваться по поводу России, и даже пытался назначить его послом в Санкт-Петербурге¹⁴³. Ричард Крейн, сын филантропа, служил личным секретарем госсекретаря Роберта Лансинга. Кроме того, Крейн-старший поощрял вмешательство Сэмюэля Харпера в политические дебаты, помогая ученому преодолеть некоторую неуверенность. Как пронизательно заметил Джордж Фрост Кеннан, Харпер разрывался между страхом быть исключенным из политических дебатов и страхом быть «полностью включенным» [Kennan 1956–1958, 2: 331]. Но его работы о России широко распространялись на всех уровнях государственной службы, от Вильсона и Лансинга до друзей и знакомых в России, таких как посол Дэвид Фрэнсис и торговый атташе У. Чапин Хантингтон. Президент Вильсон дополнил обширные контакты Крейна, поддерживая связь с его бывшими студентами, среди которых были писатель Эрнест Пул и социолог Эдвард Олсворд Росс. Аналогичным образом Артур Буллард и Уильям Инглиш Уоллинг установили связь с Вильсоном через старшего советника, полковника Эдварда Хауса [Strakhovsky 1961: 22].

В то время как идеи этих экспертов циркулировали в самых верхних правительственных кругах, на более низких уровнях другие исследования терпели неудачу. Группа ученых «The Inquiry» была организована для сбора материала и выработки рекомендаций относительно возможного мирного урегулирования, что предоставило многим ученым опыт прикладных исследований – ни одно из которых не оказало никакого влияния на политику в отношении России. Восточноевропейский отдел «The Inquiry» возглавил Арчибалд Кэри Кулидж из Гарварда, который пригласил многих своих нынешних и бывших студентов к нему присоединиться. В штат Кулиджа входил В. Г. Симхович, а также молодые американцы, такие как Сэмюэль Элиот Морисон и Р. Б. Диксон. Эта группа стала известна как своими позднейшими научными достижениями, так и отсутствием конкретных знаний по заданным темам. Надежно изолированные от основных политических дебатов по России, исследователи в «The Inquiry» взялись за свою работу с большой серьезностью, хотя и не добились большого результата¹⁴⁴.

В 1917 году почти все эти эксперты выразили энтузиазм по поводу конца династии Романовых по причинам, связанным как с продолжением войны, так и с перспективами России. Надеясь, что новое правительство усилит военную активность России, президент Вильсон и его советники высоко оценили заявления Временного правительства о том, что новая Россия продолжит борьбу против Германии. Демократическая Россия, по их мнению, будет более прогрессивной и более эффективной, чем ее предшественница. Самодержавная Россия с позором закончила свое существование в феврале 1917 года, когда царь Николай II не смог подавить растущие протесты в Петрограде. Сельские районы оказывали мало помощи; независимо от того, находились ли они под влиянием агитаторов из числа эсеров или действовали самостоятельно, крестьяне проявляли больше интереса к захвату земли, чем к поддержке правительства. Американские наблюдатели радовались, что пала одна из последних монархий, а к власти пришли либералы, исповедующие высшие идеалы демократии. Журналист Джордж Кеннан, лично знакомый со многими членами нового правительства, высоко оценил революцию как «неоспоримое благословение» [Kennan 1917: 546–547]. Даже суровый президент

¹⁴³ Крейн Вильсону, 18 мая 1914 года. См. PWW, 30: 46.

¹⁴⁴ Ученые из «The Inquiry» открыто признали отсутствие у себя знаний в этой области: Slosson P. W. Historical Note on the Russian Cessions in Asia Demanded by Germany. 8 March 1918. Inquiry Papers (Yale), series III, box 20, folder 296, p. 1; Golder F. The Don Province. 2 April 1918. American Peace Commission to Versailles Papers, box 29, p. 51; [Gelfand 1963: 54–57].

Вильсон, политолог, пошутил, что Временное правительство (первоначально его возглавлял юрист и реформатор князь Г. Е. Львов) обязано быть достойным – его лидер, в конце концов, профессор [Cronon 1963: 119–120].

Восхищаясь Временным правительством, американские эксперты и политики продолжали полагаться на представления о русском инстинкте. Они быстро перешли от сетования по поводу деспотических инстинктов русских к восхвалению их демократических инстинктов. Не беспокоясь о противоречиях, американские наблюдатели относили политическую ситуацию в России к врожденным склонностям, а не сознательным устремлениям, тем самым подкрепляя утверждение о том, что русские неспособны рационально мыслить. Это позволило им адаптироваться к резко изменившимся политическим обстоятельствам, когда Временное правительство пошатнулось и рухнуло.

Например, Сэмюэль Харпер еще в эпоху реакции после 1905 года все так же надеялся на либеральную Россию, возлагая все надежды на будущее России на демократические инстинкты ее народа [Harper 1907a: 1116]¹⁴⁵. После отречения царя Харпер активизировал свои связи в политическом секторе, чтобы поддержать президента Вильсона в признании нового российского правительства. В этом плане Харпера порадовало хорошо известное военное обращение Вильсона к Конгрессу в апреле 1917 года. Словно позаимствовав фразы Харпера, президент прославил демократию как «естественный инстинкт» русских, который пережил навязывание иностранного самодержавия. И Вильсон, и Харпер надеялись, что этот недавно освобожденный демократический дух усилит военные действия против немецкого самодержавия. В своем обращении о вступлении в войну Вильсон приветствовал «великий, щедрый русский народ во всем его величии и мощи» как составную часть военных сил. С самого начала участия Америки в европейской войне Вильсон объявил о союзе с русскими, основанном как на снисхождении, так и на общих интересах¹⁴⁶.

Вскоре после вступления Америки в войну Вильсон, желая поддержать новую Россию – и надеясь на то, что она не выйдет из антигерманского союза, – направил туда независимую экспертную миссию. Состав миссии прекрасно демонстрирует заинтересованность Белого дома в либеральной России. Элиу Рут, известный юрист с Уолл-стрит и бывший госсекретарь, сразу без возражений стал фаворитом на пост председателя. Советник президента полковник Хаус высказал идею, что в миссию должны войти еврей, бизнесмен, профсоюзный лидер и работник системы образования. Когда в этот список пожеланий был добавлен социалист, то были также предложены Уильям Инглиш Уоллинг и Артур Буллард. В конце концов одобрение получил журналист Чарльз Эдвард Рассел, так как Уоллинг отказался. Чарльз Крейн принял приглашение присоединиться к миссии, а затем также занялся включением в состав Харпера. После того как Лансинг поставил под сомнение пригодность начинающего ученого для такой важной группы, Харпер присоединился к миссии в неофициальном качестве. Также рассматривали кандидатуру Джорджа Кеннана, но в конечном счете он был признан непригодным для путешествий в возрасте 72 лет. Миссия по главе с Рутон объединила разные поколения американских наблюдателей за Россией, обладающих широким спектром специальностей и знаний¹⁴⁷.

Президент Вильсон сообщил новому российскому премьер-министру князю Львову, что миссия во главе с Рутон прибудет в Россию в июне 1917 года, чтобы продемонстрировать соли-

¹⁴⁵ Другие примеры см. в [Filene 1966: 15]. Из-за того, что календарь в России отставал от западного на 13 дней, русские назвали революцию Февральской, хотя по западным справочникам она случилась в марте 1917 года; также Великая Октябрьская социалистическая революция произошла 7 ноября.

¹⁴⁶ Обращение Вильсона на совместном заседании Конгресса от 2 апреля 1917 года. PWW, 41: 524. См. также: Харпер Ричарду Крейну, 4 апреля 1917 года. Samuel Northrup Harper Papers, box 3.

¹⁴⁷ В окончательный состав вошли Крейн, Рут, Джон Мотт (ИМКА), Сайрус Маккормик («International Harvester»), Джеймс Дункан (АФТ), генерал Хью Скотт и банкир Сэмюэл Бертрон. См. переписку в PWW, vol. 42; также: Харпер Роджеру Вильямсу, апрель 1917 года. Harper Papers, box 3; [Kennan 1956–1958, 1: 20; 2: 331].

дарность и изучить возможности американской помощи. По прибытии миссия встретила своим переводчиком Фрэнком Голдером, студентом Кулиджа, который проводил исследования в России, когда началась война. Работа миссии началась с пустых фраз, подходящих протокольным мероприятиям. Рут описал элементы русского национального характера, которые сделают Россию желанным дополнением в рядах демократических стран. Некоторые из этих характеристик (доброта и «благородный идеализм», например) хорошо соответствовали взглядам на Россию других комментаторов, в то время как другие (такие как самообладание и мужество) редко встречались в работах американских экспертов по России – или, если на то пошло, в других работах самого Рута. Председатель миссии завершил выступление развернутой цитатой из военного обращения Вильсона, также ссылаясь на демократические инстинкты русских¹⁴⁸.

Личная переписка Рута, однако, раскрыла другой взгляд на Россию. «Пожалуйста, передайте президенту, – сообщил пожилой государственный деятель, откровенно обращаясь к государственному секретарю Лэнсингу, – что мы обнаружили здесь целый класс малолетних детей в числе 170 миллионов человек по искусству быть свободным, и их нужно снабдить материалами для подготовки к этой школе; они искренние, добрые, хорошие люди, но растерянные и ошеломленные». Рут и члены его миссии лоббировали в Белом доме оплату таких «материалов для подготовки к школе» в форме образовательных и информационных программ в России¹⁴⁹. Когда миссия Рута завершила свою работу, ее члены говорили о возможности демократии с точки зрения русского национального характера. Русские обладали, по словам председателя Рута, «устойчивыми, достойными восхищения чертами характера», которые «помогли бы стране преодолеть нынешний кризис». Рут указал на способность России к самоуправлению на местном уровне, чтобы доказать, что там существует основа для построения демократии. Но этот процесс, по мнению миссии, потребует как экономической помощи, так и образования¹⁵⁰.

В официальном отчете миссии, обобщенном в ходе часовой встречи с президентом в августе 1917 года, аналогичным образом возлагались надежды на Россию в связи с врожденным характером населения и инстинктами демократии. Члены миссии согласились с тем, что «у русского народа есть черты характера», необходимые для восстановления внутреннего порядка и продолжения военных действий. Любые проблемы на этом пути – а в то лето наблюдалась эскалация протестов – были, как подчеркивается в докладе, «не результатом слабости или вины русского народа», а побочными эффектами войны. В подтверждение этих утверждений члены миссии вновь указали на успехи России в области мелкомасштабного самоуправления: *мир*. Используя эту логику, американские эксперты объявили местную демократию ядром будущей политической системы России¹⁵¹.

Социалист Рассел сохранил веру в демократическое будущее России, несмотря на ухудшающиеся условия. В день захвата власти большевиками в октябре 1917 года он написал Вильсону о «чувстве русских к демократии». Вильсон горячо поблагодарил Рассела за столь меткое выражение идей президента; президент также направил копию руководителю американских пропагандистских операций, попросив его «прочитать и как следует переварить» письмо Рассела, потому что оно затрагивает «очень близко ядро темы»¹⁵². Демократия в России была чувством, а не идеей.

¹⁴⁸ Вильсон Временному правительству, 22 мая 1917 года. PWW, 43: 365–367. Подробнее о Голдере см. WRP, 70 note 73. Обращение Рута от 15 июня 1917 года см. в [Cumming, Pettit 1920: 28–31].

¹⁴⁹ Рут Лэнсингу, 17 июня 1917 года. FRUS 1918, 1: 120–122. О лоббировании см., например: Мотт Лэнсингу, 22 августа 1917 года. PWW, 44: 66–69; Крейн Вильсону 23 июля 1917 года; Мотт Вильсону, 24 июля 1917 года. Оба письма см. в PWW, 49: 62–63, 77–79. См. также [Saul 2001: 132–133].

¹⁵⁰ Заявление Рута о работе миссии от 10 июля 1917 года в [Cumming, Pettit 1920: 32].

¹⁵¹ Доклад Специальной дипломатической миссии, август 1917 года, в FRUS 1918, 1: 143; PWW, 43: 416 note 1.

¹⁵² Рассел Вильсону, 7 ноября 1917 года; Вильсон Крилу, 10 ноября 1917 года; Вильсон Расселу, 10 ноября 1917 года.

Несмотря на их в целом оптимистичные публичные заявления после возвращения, большие надежды Рута и большинства его коллег по миссии оказались недолговечными. К тому времени, когда миссия была распущена, Крейн и Харпер уже были обеспокоены, что российская демократия находится на грани. Несмотря на их энтузиазм в отношении политических перемен, они понимали, что новое российское правительство не сможет немедленно и полностью изменить русский характер. Поэтому, когда их оптимизм сменился пессимизмом, Крейн и Харпер снова сослались на черты характера – на этот раз негативные, такие как склонность «переключать ответственность». Как выразился Харпер в начале 1918 года, российская политика определялась не разумом, а «человеческим инстинктом и глубокими эмоциями». Эти двое предположили, что объяснить неудачи России поможет русский характер¹⁵³.

Возможно, журналист Стэнли Уошберн, служивший секретарем миссии, лучше всего выразил обоюдоострое толкование русского характера. Он писал, что русские «мягки, добросердечны и послушны, с лучшими инстинктами, но медлительны в понимании»¹⁵⁴. Перечисляя хорошие качества русских, Уошберн также подразумевал, что они действуют на основе импульса, а не разума. Вместе с другими членами миссии Уошберн возлагал большие надежды на их демократические инстинкты, одновременно критикуя ограниченный интеллект и амбиции среднестатистического русского. Поскольку события в России разошлись с оптимистичными прогнозами американцев, эксперты по-прежнему отмечали инстинкты, хотя и менее привлекательные.

Весной и летом 1917 года власть Временного правительства ослабла, отчасти из-за появления альтернативного центра власти – Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов¹⁵⁵. Премьер-министр Львов уступил свою должность А. Ф. Керенскому, юристу левого толка. Лозунг Совета о «мире, земле и хлебе» привлекал последователей в рядах армии, на промышленных предприятиях и в деревнях, что часто создавало проблемы Временному правительству. Вскоре после отречения царя Совет издал Приказ № 1, призывающий к демократизации вооруженных сил. В апреле 1917 года в Петроград вернулся Ленин, что придало новую силу растущему радикальному движению; первомайский митинг показал силу радикальных партий. Весенние протесты достигли кульминации в июльские дни, когда бастующие рабочие проявили инициативу, но были остановлены Петроградским Советом. В течение 1917 года названия фракций вводили в заблуждение относительно состава Совета: фракция большевиков (или большинства) социал-демократов уступала в численности фракции меньшевиков (или меньшинства). В других советах, особенно сельских, доминировала партия эсеров.

Все письма см. в PWW, 44: 557–558.

¹⁵³ Чарльз Крейн Ричарду Крейну, 21 июля 1917 года. Richard T. Crane Papers, series II, box 1, folder 5; Заметки Харпера, июль-август 1917 года, см. в [Harper 1945: 102]. Письмо Харпера Ричарду Крейну от 5 сентября 1917 года. Richard Crane Papers, series II, box 1, folder 13; [Chalberg 1974: 163].

¹⁵⁴ Письмо Вильсона Лансингу от 14 августа 1917 года, в PWW, 43: 460 note 1.

¹⁵⁵ Первые советы появились во время Революции 1905 года. Я использую термин «Совет» (с заглавной буквы) для обозначения центрального элемента большевистской системы, особенно Петроградского Совета, в котором сосредоточилось руководство. Без первой заглавной буквы «советы» относятся органам местного самоуправления после 1917 года.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.